

Аркадий Макаров
по деревне
ходит тега...

повести и рассказы

Аркадий Васильевич Макаров
По деревне ходит тега...
Повести и рассказы

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31186750
ISBN 9785449064394*

Аннотация

Сборник состоит из ранее опубликованных в советской и российской печати произведений, рассказывающих о жизненных успехах и неудачах русского человека в переломный период эпохи.

Содержание

ЛИЦОМ СРАМИТЬСЯ И РУЧКОЙ ПРЯСТЬ...	5
ПОГОСТ	31
ПО ДЕРЕВНЕ ХОДИТ ТЕГА...	42
ДОРОГОЙ ДЯДЯ РЕДАКТОР...	76
УКРАЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ ПО-	95
УКРАИНСКИ	
УТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ	104
Конец ознакомительного фрагмента.	109

По деревне ходит тега...
Повести и рассказы

Аркадий Васильевич
Макаров

© Аркадий Васильевич Макаров, 2018

ISBN 978-5-4490-6439-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЛИЦОМ СРАМИТЬСЯ И РУЧКОЙ ПРЯСТЬ...

1

Безденежье опрокинуло меня на самую низкую ступень социальной лестницы. Падать, правда, было не высоко, но ощутимо больно. Зарплаты мне больше никто не гарантировал, да и гонораров тоже, – рыночные отношения!

Свободное плаванье результативно только при попутном ветре и за отсутствием рифов, это еще притом, что есть хорошие паруса, а так, болтаешься, как некий предмет в проруби.

Вот ведь какие ассоциации приходят в голову, когда выкурена последняя сигарета, а новую пачку купить не на что.

Дом инвалидов и ветеранов труда не такое уж жуткое место, как рисует нам воображение.

Пригородный лес. Осенняя благодать природы! Лёгкий утренний заморозок, как первая сединка в твоих волосах. Темная, но совсем не угрюмая зелень вековых сосен. Стоят, покачивая мудрыми вершинами, разглядывая нас, хлопотливых людишек возле старого двухэтажного раскидистого особняка, где нашла свой последний приют бездомная старость, отдавшая некогда молодые силы и здоровье обес-

кураженной двадцатым веком, дорогой стране. Да и сама эта страна, выпотрошенная вселенскими экспериментами, теперь тоже похожа на убогую нищенку, стоящую у парадного подъезда благополучного запада.

Но, все это – политика, к которой мое повествование не имеет никакого отношения.

Я здесь на шабашке. Разгружаем трубы, сварочное оборудование, нехитрый слесарный инструмент.

В интернате прохудились водоводы, не работает канализация, чугунные гармони отопительных батарей, смонтированные полвека назад, забиты илом и многолетней накипью...

Шабашка тем и хороша, что за свой короткий и угробистый труд можно тут же получить живыми деньгами, а не бросовым товаром по бартеру.

Ухнув, кидаю с кузова трубу, она, ударившись о старый пень, спружинив, отскакивает от земли, и стегает невысокую ограду, ломая почерневший от времени штакетник, из-за которого на высоких колесах выруливает инвалидная коляска с обезножившей пожилой женщиной. Прыгаю с машины, оттаскиваю в сторону трубу, загородившую проезд к дому. Слава Богу, что женщина двигалась неторопко, а то бы стальной хлыст сделал непоправимое.

– Ахмед! – дергает меня за рукав женщина, – Живой?

Я ошалело смотрю на нее. Сквозь темное морщинистое лицо приветливый отблеск глаз, вроде, как просвет в осеннем небе показался и тут же скрылся.

– Ахмед, помнишь, мы в Фергане с тобой в госпитале лежали? Зажила, видать, дыра в плече, вон как трубы кидаешь! А мне вот ноги доктора отчикали, культы остались, зато зимой валенок не покупать.

Думаю, – старая использует мою азиатскую внешность. Разыгрывает. Как теперь говорят, прикол делает.

– Не, я не Ахмед! Я Рома из детдома, цыганской повозки шплинт, —

отшучиваюсь.

Женщина укоризненно посмотрела на меня и, вздохнув, опечаленная покатила, раскручивая руками колеса, на лесную стезжку. «Насладиться одиночеством» – подумалось мне.

В любом интернате, как в солдатской казарме, самое большое удовольствие – побыть наедине с собой.

Взрыв на ферганском базаре забросил эту женщину сюда, под колючие тамбовские сосны доживать отпущенное милосердной судьбой время. Ей повезло, другие маются и бродяжничают, попрошайничая на городских улицах, неприветливых к чужому горю, замерзают в подвалах, отравленные алкогольными, суррогатами.

Я оказался здесь совершенно случайно. Никогда не думал, что рабочие навыки, полученные в юности, помогут мне на время одолеть денежную невезуху.

Иду смурной, смотрю под ноги, чтобы найти ключ от квартиры, где лежат деньги. Вдруг толчок в бок:

– Вчерашний день ищешь?

Поднимаю глаза, вижу – вот она, находка! Передо мной стоит старый товарищ с поднятыми парусами и в каждом сноровистый попутный ветер. Моему товарищу свободное плавание в масть. Знай, рули, и веслами шевелить не надо. Хороший инженер, изобретатель, имеющий множество патентов, забросил свое хлопотливое дело, и в удачный час организовал акционерное общество с ограниченной ответственностью. Используя первоначальную сумятицу при переходе к народному капитализму, приобретя по бросовым ценам ваучеры, сколотил, хорошие «бабки», говоря новым языком, и теперь процветает махровым цветом. Смеется, протягивает руку, хлопает по плечу:

– Как жизнь?

– Да, как в курятнике, – отвечаю. Кто выше сидит, тому перья

– чистить не надо. Сверху никто не навалит

– Все пишешь? – спрашивает.

– Пишу, – отвечаю неохотно.

– А, что такой квелый? Небось, гонорарами стенку в туалете

– обклеил?

– Ага, – говорю, – обклеить обклеил, а отодрать обратно не

могу, больно клей хороший попался. Ты чего без «Опеля»? Ноги поразмять решил? – зная его пристрастие к ино-

маркам, подслащиваю разговор.

– Э-э, чего вспомнил! Я уже третью тачку с той поры поменял, у меня теперь «Мерс» на пристёжке.

– А чего же ты не на колесах? – повторяюсь я.

От моего товарищ исходит запах вина и хорошего одколона. Лицо розовое, гладко выбрито, ухожено. Не то, что в нашей далёкой молодости. Крутой мужик. Авторитет за квартал светится.

– Гуляю, – говорит мой товарищ. Жену на Азорские острова

– отправил. Холостякую. Вчера тёлку снял в кабаке, до сих пор в

– ушах шумит. Вампир, а не девка! Губы, как присоски у осьминога.

– Пойдем, я тебя опохмелю!

– Не пью! – мотаю головой.

– Давай, рассказывай сказки! На халяву все пьют. Помнишь,

– как мы по общежитиям гудели?

– Ну, это когда было... – отнекиваюсь я.

– Пойдем, пока я простой!

Пошли.

В ресторане молодежь пасется. Девочки соломки для коктейля губками пощипывают. Глазки, как котята мохнатые, пушистые, ластьются: «Погладь – говорят, – погладь...».

Еще не перебродивший хмель делает моего товарища сентиментальным и щедрым. Бутылка сухого мартини и лощёный пакетик солёных орешек располагают к релаксации, к полной расслабленности нервного напряжения, которое полчаса назад давило мой череп отчаянной безысходностью. Теперь бы ароматная затяжка «Мальборо»^И могла вернуть меня в былые обеспеченные дни, и я наглею:

– Толян, у тебя хрусты во всех карманах распиханы, отстегни

до первой возможности. У меня в Москве по издательствам рукопись ходит. С гонорара отдам. За мной не заржавеет. Ты же знаешь!

Товарищ хлопает меня по плечу. Смеется, Взгляд дружеский, обнадеживающий.

Я мысленно уже благодарен ему. Бот, что значит старый друг! Вместе по девкам шлялись, стеной в пьяных драках стояли. На нож шли. Выручит.

– Дать, я тебе дал бы. Но ведь ты мужик строптивый. Мало не возьмешь обидишься. А много, я с собой не ношу. Деньги все в деле. Помнишь, как мы с тобой учили по политэкономии: капитал должен работать. Пей, я еще бутылку возьму!

Наливаю полный бокал. Пью. Вино хорошее. Согреваюсь. Мозг начинает плавиться. Волны тепла и света размягчают сознание. Нестерпимо хочется курить. Мой товарищ лет двадцать, как не притрагивается к сигарете. Кручу головой в по-

исках знакомых, – у кого бы отовариться куревом. Но здесь компания не моя. Лица все чужие, сосредоточение в своих разговорах, увлечённые. Вот оно «племя молодое, незнакомое» – вспоминается классик.

К нашему столу присаживается щеголеватый молодой человек. Мой товарищ знакомит меня с ним, – главный инженер разваливающегося строительного треста. Укачкин.

Фамилия знакомая. Когда-то, после окончания института, я нанимался на работу к его отцу, начальнику монтажного управления. Отец его был стоящий мужик, и, несмотря на мою неопытность, взял меня на участок мастером. Его сын, имея тестя-депутата областной думы, быстро оказался в кресле главного инженера треста «Промстрой». Судя по заносчивому виду этого молодого человека и щегольской одежде, с отцом, прирожденным монтажником и работягой, он мало имел общего.

Несмотря на раздетое до крайности предприятие, главный инженер выглядел вполне преуспевающим человеком. Мягкий костюм из модной ткани, демократическая майка с оглушительной надписью, разумеется, на английском, делали его похожим на лобастых парней тусующихся возле игральные заведений. Садиться без пожатия руки, еле заметно кивнув головой, и начинает, не притрагиваясь к выпивке, какой-то деловой разговор с моим товарищем. Берёт быка за рога. Выло видно, что у них давние деловые отношения.

Разговор в данной ситуации для меня становился, не ин-

тересен, и я подлил в свой бокал еще вина и выпил. Затем, окончательно обнаглев, потянулся к пачке деликатесных сигарет «Парламент», неосмотрительно положенным на стол новым знакомым, взял пару штук, одну про запас, и закурил, наполняясь блаженством и ленью.

Укачкин быстро посмотрел в мою сторону и продолжил разговор о пиломатериалах, трубах, бетоне. Из разговора я понял, что у него намечается выгодный подряд на капитальный ремонт дома-интерната для престарелых и инвалидов, и теперь ему крайне необходимо найти бригаду скорых на руку ребят для быстрого завершения сантехнических работ.

– Да, чего искать? – указывая на меня, говорит мой товарищ. – Вот безденежьем мается! Он тебе за комиссионные по старым связям целое монтажное управление приведет.

– Ну, управление без надобности, а пару-тройку человек я бы взял, – говорит Укачкин.

Я согласно киваю головой. Для меня найти свободного сварщика и тройку слесарей не составляет никакого труда. Шабашка – есть шабашка! Проведенный по левым бумагам подряд, освобожденный от налогов, сулил хорошие деньги, и Укачкин, теперь уже повеселевший, жмёт мне руку. Мой товарищ заказывает еще бутылку коньяка и мы, припозднившиеся в застолье, расходимся довольные друг другом.

Чего тянуть время? К работам приступили быстро под честное слово Укачкина. «Плачу деньгами за каждый этап

выполненных работ» – говорит главный инженер. – Ни каких бумаг! Не люблю бюрократию. Всё отдаю наличманом. Самая лучшая бумага – это дензнаки. Сроки поджимают. Идет?
– Идёт!

Пожимаем, друг другу руки – и расходимся.

Нашёл знакомого сварщика. Тоже сидит на мели...

Тот обрадовался:

– Какой разговор! Работа – деньги. Лучше маленький калым,

чем большая Колыма! – восклицает мой бывший рабочий, а теперь и напарник Гена Нуриев

После ознакомления с объектом работы, мне показалось не совсем этичным брать деньги за посредничество, и я решил их честно заработать в качестве слесаря-сантехника, припомнив свою трудовую молодость. Весь объем можно было выполнить двум рабочим – главное, чтобы не подвел сварщик. И мы, оговорив все условия, приступили с Геней к работе.

...В подвале сыро, смрадно и гнусно. За шиворот с потолка каплет скопившийся конденсат. Пахнет дохлятиной и гнилью. Вокруг какие-то тряпки, куски бинтов, ваты, пищевые отбросы. Из прохудившихся труб напористо бьет вода.

Меняем проржавевший водовод на новый.

– Падла! – крутятся волчком на одной ноге, кричат на меня Гена Нуриев. Кусок металла белого каленья проваливает-

ся ему за

широкое голенище кирзового сапога. – Сука! Держи трубу прямее!

Это тебе не на участке командовать! Инженеры! Бездельники! —

уже миролюбивее обобщает Гена, лучший на монтажном участке, где я когда-то работал, сварщик. – Стыкуй ровнее, пока я не прислюню.

Гена снова берет автоген в руки и делает короткий стежок прихватки.

2

Прислюнил...

Я облегченно отхватываюсь от раскаленного стыка и разгибаю затекшую спину. Труба надежно закреплена. И теперь можно спокойно перекурить, пока Гена будет, невероятно изворачиваясь, обваривать в неудобии неповоротное соединение. Прорывающаяся сквозь стык упругое пламя ревет в трубе, и я уже не слышу смачных матерков в мой адрес.

Я взял Гену к себе в напарники, зная его усердие и добросовестность.

3

Геннадий Махмудович Нуриев – тоже бывший интеллигентный человек, в свое время с отличием закончивший математический факультет пединститута. Проработав около

года за мизерную зарплату учителем в школе, он, плюнув на это занятие, пришел к нам на участок учеником сварщика и быстро втянулся в рабочую лямку.

Полу-таджик – полу-русский он, как сам рассказывал, обладал нестерпимым темпераментом, который сжигал его внутренним огнем. Любимая подружка, узнав, что из учителя он успешно перековался в монтажники, бросила его за свое ущемленное самолюбие. И Гена метался обездоленный, выплескивая передо мной обиду за свою поруганную любовь.

Я, решив над ним подшутить, сказал, что твоя подружка, раз ты так мучаешься, присушила к себе, и надо тебя сводить к «бабке», которая твою «присушку» ликвидирует в один прием, и ты снова станешь человеком. Отчитает тебя, водички наговоренной даст, ты потом свою подружку за километр обегать будешь.

– Своди! – мужественно сказал Гена. – Бутылку коньяка поставлю.

– Ну, ставь!

И я сводил Гену, заранее договорившись, к одной разбитной бабенкой, которая, прочитав над головой моего подопечного какую-то белиберду, окатила его из кружки водой, и оставила у себя отсыхать. Пока Гена «отсыхал» я, потихоньку моргнув веселой вдове, улизнул из дома.

На другой день Гену, как подменили. Ласточкой в руках его летала газовая горелка, производительность пошла в го-

ру.

Так мы с Геной и сблизились. Характера он был незлобиво-го, а сегодня ругал меня нарочито грубо в отместку за мои сентенции в его адрес, когда он был у меня в подчинении. Шабашка поставила нас в равные условия, и мой напарник не скупился на самые изысканные выражения в мой адрес.

– Ты не обижайся, – говорил он мне в перекуре. – Это все те же слова, которыми ты когда-то крыл меня, а теперь я их воз —

вращаю по адресу, чтобы ты знал, как с работягами разговаривать.

А-то с утрянки сам, бывало, по-черному матерился. Нехорошо брат!

Вот теперь мне на тебе отыгрываться приходится.

...Сантехнические коммуникации расположены под дощатым полом первого этажа, где располагается столовая и все службы интерната. Днём вскрывать полы нельзя, люди ходят, обслуживающий персонал и подопечные поселенцы – кто на костылях, кто на колесах. Днём мы отсыпаемся в бытовке, где от храпа моего товарища вибрируют ушные перепонки, и уши приходится затыкать, за неимением ваты, лежащей тут же паклей для уплотнения резьбовых соединений труб. Сначала неудобно, но потом привыкаешь и спишь, как младенец.

Приходится работать ночью.

– Физдюки! – кричит на нас директор этого богоугодно-

го заведения тучный мужик лет пятидесяти, хватаясь за голову. – Физдюки, вы у моих бабок на целый год охоту ко сну отобьёте. В медчасти все снотворные кончились. Гремите потише. Здесь вам не кузница.

А, как не стучать, коль с металлом работаем.

– Владимир Ильич, – перекрываю я гул автогена, – сон разума

– порождает чудовищ. Там отоспятся!

– Все шутишь! А у меня голова, – во какая! Пухнет. Распряглись,

– — не пройти, не проехать. Я вам сколько раз говорил – зовите

– меня без фамильярности, просто, как Ленина – «Ильич».

Директор этого хосписа с юмором. Смерть у него всегда перед глазами ходит, косой помахивает. Не углядишь, – она в палату, да и прихватит кого-нибудь с собой.

Меланхолику на такой должности никак нельзя – крыша поедет.

Вчера захожу в столярную мастерскую ручку к молотку поправить, а там две ладьи через речку Стикс печальные стоят. Нос к носу. Мужики на крышках посиживают, в домино колотят, «рыба» получается – пусто-пусто. Обвыклись. А я, пока ручку к своему инструменту прилаживал, все пальцы посшибал, соринки в глазах мешались.

Мужики похохатывают веселые, крепкие. Сивушкой по-

пахивают.

Полночь, Дом, как больное животное, спит, беспокойно поджав под себя конечности, подёргивая в краткой дремоте тусклой запаршивевшей кожей. Через лестничный проем слышатся: неразборчивое бормотанье, надрывистый кашель, какой-то клетот и резкие вскрики. Обитателям снится – каждому своё. Кому распахистая молодость, а кому тягостные образы старческих дум – предвестники затянувшегося конца.

В белой длинной рубахе, раскинув, как в распятые руки, на слабых ногах, ощупывая белёную стенку, движется к нам то ли слепой, то ли в сомнамбулическом сне человек. Он шел так тихо, что мы его заметила у самого провала – освобождая технологический канал для трубопроводов, мы с Геной вскрыли полы. Из подполья тянет крысиной мочой, сладковатым запахом гнили и сырыми слежалыми грибами – плесенью.

Гена, неожиданно увидав деда, матюкнувшись, вскакивает, загораживая ему дорогу:

– Ты куда, дед? Назад! Здесь яма, грохнешься, и хоронить не

– надо.

– Сынки, – трясущимися губами в короткой позеленевшей поросли

– стонет человек. – Мне бы в буфет, хлебца купить. Голодный я, сынки.

– В какой буфет, мужик? – недоверчиво спрашиваю я. – Ты, действительно, есть хочешь?

– Собаки здесь работают, мать-перемать! – переходит он на понятный нам с Геной язык. – Есть, не дают. Заморили. Мне бы хлеба...

Я бегу на кухню, где на тарелке лежали ломти хлеба – остаток от ужина. Набираю несколько кусков пшеничного, сомневаясь, что проснувшийся ночью старик, хочет есть. Ведь сегодня на ужин давали гречневую кашу с разварной тушёнкой и яблочный компот. Может, деду приснились его голодные годы, в которых он прожил почти всю свою жизнь.

Старик слеп. Я сую ему в холодную костистую ладонь хлеб, расстраиваясь, что у нас нет ничего посущественнее – человек хочет есть!

Дед сжимает рукой куски хлеба, кроша и разминая их, поворачивается назад, и снова ошупью поднимается к себе.

Он уже, наверное, забыл свою просьбу. Куски испачканного побелкой хлеба вываливаются из его ладони, он топчет их, и так же тихо, как пришел, уходит.

Мой напарник шумно втягивает воздух, да и я полез за куревом, с удивлением замечая, как быстро здесь кончаются сигареты.

В доме шумно, толчея, тянет волей и чем-то давним, забытым, как в моем прошлом, когда цех, в котором я начинал работать, получал зарплату. Жильцы сбиваются в кучу,

что-то радостно обсуждают, гомонят. В разговорах участвуют больше старики, бабки и женщины помоложе, а жертвы несчастного случая и инвалиды детства, тончатся в стороне, иные на колясках прокатываются взад-вперед, с вожделем посматривая на белую закрытую дверь, где находится касса.

Сегодня пенсионный день. Обещали привезти деньги после обеда, но с утра уже, нет-нет, да и вспыхивают озорные искорки в, казалось бы, давно отцветших глазах.

Обсуждают: кто кому, сколько должен и когда расплатиться.

Инвалидная коляска для обезножившего или разбитого параличом человека, здесь больше, чем личный автомобиль. Утром, перекатив свое непослушное тело в коляску, – ты на коне! Ты на колесах – кати себе в любую сторону. Мобильность! Фигаро здесь, Фигаро там. Многие так удобно влиты в свои коляски, что, кажется, выросли в колеса. Кентавры! Как тут не вспомнить древних: движение – это жизнь.

Навстречу мне, толкая руками маятниковые рычаги, на старом драндулете еще военного образца катится женщина. Наш инструмент и разбросанные обрезки труб мешают проезду, и я подошел помочь ей миновать захламлённый участок, и дальше толкать свою тачку жизни в никуда. Женщина еще не старая. Глаза смотрят на меня с каким-то удивлением, потом выражение лица меняется, она кладет свою тёплую ладонь мне на руку, останавливая благородный по-

рыв. Ладонь по-мужски жесткая, крепкая.

– Вот она, жизнь-то, какая случилась! И тебе, видать, от новой власти ничего не досталось, писатель.

В словах ее горечь сочувствия.

Я обескуражен. Откуда эта несчастная прознала, что я действительно член Союза писателей России? Женщина провела рукой по моей ветхой испачканной известью и ржавчиной одежде.

– А ведь какой голубь был! Не помнишь?.. Да, теперь меня разве кто угадает!

Я растеряно улыбаюсь. Стараюсь вспомнить это опечаленное недугом лицо. Может землячка из Бондарей?.. Да нет. В моем селе, вроде такая не жила...

– Да не мучайся! Марья я, Алексеевна, знатная доярка из Красного Октября! Ты еще в колхозе у нас выступал. Стихи мне

хорошие посвятил. В газете пропечатал.

Я вспоминаю: Марья Ильичева, передовик труда! Как же! – «Над Уметом зима бедовая. Зябнуть избы в иглистой мгле. Вот доярки, гремят бидонами. Разрумянились на заре».

Марье Алексеевне стыдно за свое положение в этом безродном и безрадостном приюте. Мне стыдно за мое положение слесаря-сантехника, такого же, как мой сосед Ерёма, пьяница и скандалист, как сотни российских сантехников стреляющих с хозяина на похмельку за пустячную работу

по устранению течи в кране.

– Спился что ль? – жалеет меня бывшая знатная доярка.

– Ага! – говорю, как можно веселее. – Не пей вина – не будет слез!

– Да-а, вот она судьба-то, какая! Каждому – своё. Живи — не зарекайся, – вздыхает Марья Алексеевна, и я осторожно перевожу ее по досочкам в медицинский кабинет на процедуры.

Услышав наш разговор, ко мне заворачивает высокий прямой, как фонарный столб старикан. Вид его необычен. Несмотря на промозглую погоду и сквозняки в протяженном коридоре, на нем только одна майка десантника и войсковые с множеством карманов брюкв. На груди у него поверх майки большой старообрядческий кипарисовый крест на витом шелковом шнуре. На затылке пучок пегих выцветших волос стянутых резинкой от велосипедной камеры. Он протягивает мне узкую, жилистую руку. Знакомиться:

– Арчилов! Бывший полковник КГБ!

Достаёт какое-то потертое удостоверение и горсть желтых увесистых значков и медалей.

– Вот они молчаливые свидетели моих подвигов! Тайный фронт! Вынужден бежать из Абхазии от преследования. Гарун! Т-сс! – полковник боязливо крутит головой. И совсем тихо: – Меня здесь третируют. Никакого уважения. Колхозники! – кивает в сторону директорского кабинета. – Я на внутреннем фронте кровь проливал. Мафия! Я тебе рас-

скажу. Всё расскажу, – шепчет он торопливо – тут осиное гнездо. Все воры. Простыни воруют волки тамбовские! В кашу машинное мыло льют. Нас травят. Я писал – знаю куда. Но мне не верят. Ты напиши. Напиши депутатам, чтоб комиссию выслали! – ссыпает он в карман горстью, как железные рубли, свои награды. – Ко мне дохляка подселили. А мне, по моим заслугам, положено одному жить. Я выстрадал.

За несколько дней работы в интернате, я на короткую ногу сошелся с директором «Ильичём», как он просил себя называть, и подался выяснять: но какому праву здесь обижают полковника вышедшего неопалимым из горячих точек Закавказья. Вон у него, сколько орденов и медалей за боевые действия!

– Да пошел он к такой-то матери! По кляюзам этого Арчилова, пять комиссий было. Вот они, бумаги! Им даже в ФСБ интересовались. Смотри! Ильич достает ворох листов из стола. Удостоверение и медали за Арчиловым не значатся. По его собственному признанию оперативнику, он все это купил на базаре в Сухуми. Там еще и не то купишь! Избавиться от него не могу. Обследование делали. Говорят – не шизик. Здоров, как бык! Зимой снегом натирается. С ним в одной палате жить не кто не хочет. Ссыт прямо в валенки. Мочу собирает, а потом в них ноги парит. Вонь страшная! А выселить его не имею права. Безродный! Вынужденный переселенец! У меня для инвалидов мест не хватает. А этот

боров ещё на старух глаз метит. Жду, пока изнасилует какую. Может, тогда от него освобожусь. Как чирей на заднице! Дай закурить!

Я протягиваю сигареты, и мы с Ильичом разговариваем о превратностях судьбы.

– Я ведь тоже по молодости писал. На филфаке учился. А теперь забыл все. Здесь такого насмотришься, на целый роман хватит. Горстями слезы черпай! Иди ко мне в завхозы! – хитро смотрит на меня директор Дома Призрения.

Сегодня вечером в коридоре шумно. Обитатели приюта получали им причитающуюся пенсию. За вычетом на содержание, у каждого остается для своих нужд. А у русского, тем более казённого человека, какая нужда! Крыша есть. Кормёжка, хоть и диетическая, а тоже имеется. Надо и грешную душу потешить.

Ко дню выплаты пенсий местные спиртоносы, крадучись, чтобы не заметило начальство, доставляют самогон прямо к месту употребления, в палаты – обслуживание на дому.

– Надоели мне эти компрачи́косы! Стариков травят. У него завтра на похмелку инсульт будет, а он пьёт, – имея в виду своих постояльцев, сокрушается Ильич. – Милицию вызывал. Оштрафуют двоих-троих, а на следующий раз другие приходят, в грелках отраву приносят. Хоть охрану выставляй! Пойдем, поможешь бабку до полати дотащить. С катушек свалилась, а все петь пытается.

Мы с Ильичом поднимаем пьяную женщину, пытаюсь уса-

дить ее в инвалидную коляску. За женщиной тянется мокрый след. Видать не справился мочевой пузырь с нагрузкой. Протёк. Отвезли бабу в палату. Пошли через коридор к умывальнику руки мыть.

В углу на старых вытертых диванах посиделки. Оттуда слышится протяжная старинная песня: «Мил уехал, мил оставил мне малютку на руках. На руках. Ты, сестра моя родная, воспитай мово дитя. Мово дитя. Я бы рада воспитати, да капитала мово нет. Мово нет...»

Потянуло далеким семейным праздником, небогатым застольем в нашей избе. Здоровая, молодая, шумная родня за столом, покачиваясь, поёт эту песню. Дядья по материнской линии голосистые, напевные. Песню любят больше вина. Я лежу на печке, иззяб на улице – теперь греюсь. Слушаю. И не знаю, почему наворачиваются слезы на глаза. Мне жалко брошенной девушки. Жалко малютку на руках, такого же, как и мой братик в полотняной люльке с марлевой соской во рту... Да... Родня... Песня... Детство... А-у!..

4

Беру в руки скаarpель, – зубило такое с длинной ручкой, молоток и начинаю долбить кирпич в стене. Здесь должна проходить труба. Кирпич обожженный. Звенит. Бью резко, Скаarpель, проскаarpывая, вышмыгивает из кулака. Палец краснеет и пухнет на глазах. Гена, буркнув какую-то гадость в мою сторону, подхватывает скаarpель и продолжает вгрызаться в стену, пока я изоляционной лентой перематы-

ваю ушибленное место. Гнусно на душе. Пакостно. Хочется всё бросить и уехать в город: принять ванну, надеть чистое белье, развалясь в кресле, пить кофе с лимоном, и смотреть, смотреть очередной бразильский сериал, от которого я недавно испытывал только зубную боль. А теперь и он вспоминается с затаенной тоской.

Назавтра – Седьмое Ноября. День согласия и примирения, так теперь, кажется, называется памятная дата начала глобальных экспериментов над Россией, приведшего её к такому постыдному состоянию, когда затюканный народ, чтобы прожить, должен наподобие нищего «лицом срамиться и ручкой прясть».

В Дом пожаловали представители администрации области поздравить неизвестно с чем, собравшихся в маленьком кинозале обитателей, болезненно напомнив им о шумной молодости и дружных демонстрациях в честь Октября – красного листка календаря. До одинокой, неприкаянной старости, тогда было далеко, да и не верили они, хмельные и здоровые в эту самую старость, когда душа становится похожа на дом с прохудившийся крышей, через которую осеннее ненастье льет и льет холодную дождевую воду. А спрятаться негде...

– Безобразие! – выговаривает высокий гость директору, показывая

на нас с Геной, громыхающих ключами возле истекающего

ржавой водой распотрошенного вентиля. – Праздник пор-
тят! Сейчас

должна самодеятельность прибыть, а здесь они с трубами
раскорячились!

Халтурщики!

Мы с Геной ухмыляемся, переглядываясь, и начинаем еще
ретивее греметь железом.

Правда, обещанная самодеятельность так и не приехала.
Чиновники, подражая ведущим передачу: «Алло, мы ищем
таланты!» вызывали на сцену под бравые выкрики, тоже при-
нявших на грудь ради такого дела, повеселевших старичков
с рассказами о героическом начале дней давно минувших.
Не обошлось, конечно, и без Арчилова, который и в этот раз
клеил позором неизвестно кого, призывая с корнем вы-
корчевывать иждивенческие настроения масс.

В этот день и нас тоже не обошел нежданчик.

К вечеру на белом джипе подкатил наш работодатель. Ру-
мяный, молодой, в ярком адидассовском спортивном костю-
ме, модным ныне среди «новых русских» на фоне серого
обшарпанного здания и нас, замызганных и усталых, сре-
ди пергаментных постояльцев Укачкин выглядел молодцом.
Король-олень, да и только!

По рукам ударять не пришлось, но поприветствовал он
нас вполне дружески:

– Ну, что, мужики, с праздником вас! Работу кончили?

Гена почесал в затылке – больно скорый начальник.

Делов еще на целую неделю, а он уже прикатил.

– Ну, ладно, – говорит он миролюбиво. – Поднажмете ещё.

Я, вот,

позаботился о вас! – достает из машины полиэтиленовый пакет. В пакете бутылка водки и румяный батон вареной колбасы.

Ну, вот, теперь и для нас День Революции! Работодатель улыбается:

– Ну, что – со мной можно иметь дело?

– Можно, можно – говорит мой напарник, забирая угощение. – Да

и аванс надо бы выплатить. Работа кипит. Пойдём, посмотрим!

Укачкин идёт за нами. Осматривает сделанное. Доволен. Взгляд хозяйский покровительственный. Было видно, что здесь он имеет свой маленький бизнес, копает денежку, Лезет в карман, достает несколько сотен. Протягивает – берите, берите. Бумаги на получение аванса никакой. Зачем бюрократию разводите. Вот они, деньги! Пластаются на ладонь листок к листку. Пусть пока сумма небольшая – аванс всё-таки!

Мы довольны. Хороший человек! Хороший хозяин. Своих работников не забывает! Бросает ногу на педаль, газуя, лихо разворачивается и уезжает.

Нам с Геной нить некогда. Дела. Потом догоним. Дом без горячей воды. Директор нервничает. Который день не ра-

ботають душевые и прачечная. «Вы, ребята, пожалуйста, пожалейте стариков...» И мы поспешаем, жалеем стариков – бьём-колотим, гнём-контуем, режем-свариваем, концы заводим.

За полночь к нам подходит дежурная медсестра. Уговаривает не греметь:

– Тише! Человек умер. Хороший дедок был. Аккуратный. Учитель бывший. Пришла к нему укол делать, а он холодный. А этот малахольный Арчилов кричит, что он с покойником вместе спать не будет. Может, в коридор учителя можете вынести? А?..

Смерть – самое естественное в этом мире, а привыкнуть нельзя. Разум кричит. Как сказал великий поэт, – «Перед этим сонмом

уходящих я всегда испытываю дрожь». И у меня нехорошо сжимается сердце.

Бросаем работу. Гена зачем-то берет обрезок трубы, и мы поднимаемся в палату, где лежит покойник. Арчилов возмущенно размахивает руками, что-то клопочет.

– Замолчи, гнида! – Гена поднимает трубу и Арчилов в подштанниках, взлохмаченный, прихватив одеяло, выбегает в коридор и устраивается в углу на диване.

– Пусть учитель побудет один, – говорю я, и медсестра соглашается.

Накрытый тёмным солдатским одеялом, бывший учитель с неестественно выступающими ступнями страшен в своей

неподвижности.

Мы, не выключая свет, уходим.

Арчилов уже храпит на весь этаж беззаботно и отрешенно.

Идём в свою бытовку помянуть учителя.

Утром в маленькой комнатке, служащей чем-то, вроде, домашней церкви, возле бумажных икон горят несколько свечей. Кучка старушек неумело крестятся, глядя на горящие свечи. Их комсомольская атеистическая молодость все еще проглядывает сквозь сухие скорбные лица.

В столярке опять оживленно. Выбирают доски, которые посуше да попрямее на новый гроб. Жизнь идет своим чередом...

А Укачкин так и не заплатил нам за выполнение работы. Говоря по-теперешнему – кинул. Что с него взять? Какое время, таков и человек в нем,

А мне как раз подоспел гонорар из журнала. Так, что с куревом теперь все в порядке. Хотя заразу эту пора бы и бросить» Да все никак не соберусь. Прилипчивая сволочь!

ПОГОСТ

*Не в силе Бог, а в правде
Александр Невский*

Грустно, что лето осталось где-то там далеко-далеко, откуда нет возврата. За сеткой долгих и нудных дождей незаметно, как вражеский лазутчик, короткими перебежками подкралась осень. Над бондарским погостом кружат большие беспокойные и крикливые птицы. Как только я ступил за ограду кладбища, они тут не снизились и расселись по крестам, внимательно наблюдая за мной. Когда я двинулся дальше, птицы, соскакивая с крестов, услужливо засеменяли впереди, будто показывая дорогу к печальному и родному месту. За небольшой, сваренной из стальных прутьев оградой нашли вечное пристанище мои незабвенные родители: на крохотном бетонном обелиске фотография смущенно улыбающейся матери, а рядом, слева, на жестяном овале горделиво взирающий на этот мир отец. Я тихо прясел на врытую в землю скамью. Всё это – мой дом и моё отечество...

Резкие, скрипучие звуки бесцеремонных пернатых не давали мне поговорить с родителями.

Птицы, христарадничая, расположились возле меня. Из-за своей всегдашней недалёковидности я пришёл на кладбище без гостинцев, – так получилось. Поднявшись со скамьи,

вывернул карманы, показывая черным монахам, что у меня ничего нет. То ли испугавшись моего резкого жеста, то ли действительно поняв, что от меня ждать нечего, они разочарованно взлетели и, снова ворча и переругиваясь, закружили над тополями и зарослями буйной сирени, плотной, упругой стеной отгораживающей старую часть погоста от новой. Там, на старом кладбище, тогда еще так буйно не заросшем сиренью, мы, пацанами играли в любимую игру тех лет – войну, прячась в старых, полуразрушенных склепах, давным-давно построенных именитыми людьми Бондарей.

Во время гражданской бойни и коллективизации эти-убежища спасли не одну жизнь. Здесь мой дядя, ныне здравствующий Борисов Николай Степанович, двенадцатилетним подростком несколько дней и ночей сторожил семейный скарб от большевистского разграбления. Дядя рассказывал, как, холодея от страха, он задами и огородами сносил и прятал в один из склепов не очень уж и богатые пожитки. Комбед подчищал все. Когда к моему деду пришли описывать имущество, часть его была уже надежно припрятана. Это и дало возможность пережить зиму моей матери с семьей. Дядя Коля еще говорил, что разъярённый председатель комбеда Иван Грозный, так звали у нас на селе одного из самых жестоких борцов за чужое добро, сорвал с гвоздя понравившийся ему ременный кнут и, когда мальчишка, плача, вцепился в него всей детской силёнкой, доблестный коммунист, черенком кнута, борясь за правое дело, размозжил

мальчику губы. Но..., это другая тема. Всё минуло и заросло быльём, как кладбищенской сиренью. Такой сирени я нигде больше не встречал. По весне, голубыми и розовыми шапками наряжалась она, встречая печальные шествия, и прощально покачиваясь, провожала в последний путь очередного бондарца. Вон их, сколько тут улеглось молчаливо и безропотно в родную землю, которую они ласкали и холили при жизни, а теперь вот накрылись ею – и не докричишься. Слабые и сильные, *правые и неправые*, все они тут рядышком, посреди колосистого поля, на островке скорби. Кресты, кресты, кресты...

Правда, на некоторых могилах встречаются и звёзды – судьба сама распорядилась: кому под крест, кому под звезду...

Неподалёку от моих родителей под высеченной на чёрном мраморе звездой нашёл успокоение профессиональный партийный работник, отчим моего друга, – Косачёв Иван Дмитриевич. Да будет ему пухом земля наша! Учился на актера, а вот, поди, ж ты, пришлось играть на партийных подмостках в театре абсурда. В раннем детстве он познакомил меня с тогда ещё запрещённым Есениным, и я всю жизнь благодарен этому партийцу за это. Со мной, мальчишкой, он говорил всегда, как с равным, и тогда ещё пробудил во мне страсть к поэзии и литературе. А сколько потом в затяжных застольях было разговоров о политике, о жизни, об искусстве! Я всегда, когда бываю здесь, захожу к нему поклонить-

ся и, вздохнув, вспомнить прошлое.

За зеленой стеной сирени, возле задернённого вала, отделяющего погост от поля, теснятся высокие, ещё не тронутые осенней позолотой, деревья. Эти тополя были посажены в шестидесятых годах на заброшенной и неприбранной братской могиле сердобольными женщинами, среди которых была и моя мать.

Прислонившись плечом к тополю, над братской могилой стоит слегка покосившийся, кованный из полос стали чёрный крест. Его делал мой дядя, тот исхлестанный любителем цыганских кнутов. Красный бондарский царь Иван Грозный с партийным благословением на разбой яро защищал права местной, почему-то всегда нетрезвой, голытьбы, не забывая при этом и о себе. Но не про то сегодня. Не про то...

Под этим плоским, черным, с остроконечным распахом – крестом лежат в земле невинные люди, попавшие под Серп и Молот большевицкого Молоха. На жестяной дощечке, прикрепленной к кресту, черным по белому написано:

Здесь покоиться прах рабов Божьих,

Убиенных в 1918 году

24 человека:

иерея Алексея,

иерея Александра,

диакона Василия,

ктитора Григория,

раба Михаила,
Фёдора, Антипа,
И других неизвестных рабов.
Мир праху вашему.
Спутник, отдохни,
Помолися Богу,
Нас ты помяни.

И я пришёл сюда, чтобы помянуть их в своём очерстевшем под жизненным ветром сердце. Мир праху вашему, рабы Божьи! Ктитор Григорий и раб Михаил – мои кровные родственники по матери. И нашей кровью умывала руки большевистская сволочь в ноябре 1918 года, нагрянувшим в Бондари карательным отрядом.

2

Бондарцы народ хитроумный и недоверчивый, Потомки беглых людей, с северных губерний России посмеиваясь и пошучивая, восприняли сообщение о большевистском перевороте в Питере. «Не, далеко Петроград, сюда не дойдут! – самонадеянно говорили они, занимаясь своим извечным ремеслом. Что им Революция? Мастеровые люди, занятые фабричным и кустарным делом, жили своим трудом. И жили ничего себе, об этом свидетельства моих стариков-односельчан. «Если есть голова и руки, то всё остальное приложится» – говаривали они.

Бондарская суконная фабрика, построенная еще в 1726 году и исправно действующая после все время, вплоть до семнадцатого года давала возможность местным жителям хорошо зарабатывать. К тому же большие, богатые базары помогали торговым людям и местным мастерам-умельцам держаться на плаву.

Бондари славились своими кожевниками, кузнецами, шорниками, ну, и, конечно, бондарями. Крепкие дубовые бочки под разносолы, схваченные коваными обручами, ценились высоко.

– Не-е, не дойдут! – по-бондарски растягивая слова, упрямо твердили они на тревожные и страшные вести приезжих людей.

Даже тогда, когда салотопщик и пропойца Петька Махан ходил по селу, поигрывая бомбами на поясе, они всё посмеивались, показывая пальцем на Махана и дразня его.

Выхваляясь, Петька грозился взорвать фабрику и половину Бондарей спалить – лавочников и мещан грёбаных!

– Обожди, обожди! – *хрипел он.* – И на нашей улице будет праздник!

И его праздник пришёл.

Стылым осенним днём, кидая ошмётья грязи на чистый утренний снежок, на штыках карательного конного отряда в Бондари ворвалась новая власть. «Чё за гостёчки ранние?» – боязливо отдергивая занавески, поглядывали бондарцы на верховых».

Казенные люди для русского человека – всегда опаска. А тут их вон сколько! И все с ружьями и при саблях. «Нешта немец до Тамбова дошёл?» – спрашивали друг у друга.

Тамбов для немца был действительно далековато, но смерть уже застучала *костяными пальцами* по окнам. Перво-наперво в революционном порыве были арестованы все служители храма вплоть до сторожей и приживалок *при церкви*. Потом начались погромы продуктовых лавок и трактира. Бондарцы недоуменно пожимали плечами: «Как же так? Среди бела дня грабят, а им нету никакого окорота! Что же за власть такая?..»

Мой родственник, «раб Михаил» из того черного списка, пришёл в лавку купить дочери сосулек – леденцов потеперешнему. Лавка была распахнута полки чистые, ходят какие-то пришлые люди, хозяйничают. Михаил стал возмущаться: вот, мол, пришли *порядки* – сосулек купить надо, а лавки пустые.... Загребли и его – так, для счёта. Может, система у них была поголовная – чем больше, тем лучше. Загребли даже одного приезжего из Саратова – навестил больную малолетнюю дочь, которая гостила в Бондарях у родственников. Его, Свиридова Фёдора Павловича, загребли только за то, что человек не местный и заартачился быть понятым при шастаньях по чужим закромам, – думал *порядки* старые, царские, – ан нет! Новая власть оказалась обидчивой – после избиения привязали его за руки к седлу, и погнал потехи ради красный кавалерист лошадь галопом. Так

и тащили его с Дуная (Дунайской улицы) до самой церковной площади по мёрзлой кочковатой земле, как был, в одной рубашке и кальсонах – знай наших! Неча по больным дочерям ездить! Тоже – родню нашёл!

Большевицкие рыбаки приличный улов сделали – с одного села более двадцати человек буржуев и пособников империализма зацепили...

Мой дядя – Борисов Сергей Степанович, ныне тоже здравствующий, со своим сверстником тайком, из-за угла скобяной лавки, поглядывали на скучковавшихся возле церкви людей. Жители попрятались по домам, зашторив окна. Дядю Серёжу, то есть двенадцатилетнего пацана, мой дед Степан послал поглядеть: Чтой-то будет делать новая власть с Михаилом да Григорием? Пацаны и поглядывали украдкой за страшным делом. Потому-то, со слов очевидца, у меня достоверные данные о кровавой расправе над ни в чём не повинными людьми.

Они никакими действиями не оказывали сопротивления так называемой пролетарской диктатуре. Не богачи и не белогвардейцы – такие же рабочие, мещане, служители Господу – словом обыватели. Ещё не было и года советской власти, и такое злодейство!

Коммунисты оказались скоры на руку. Чего там судить? Всего и делов – то, что шлёпнуть!

Когда несчастных людей вели на расстрел, к красноармейцам пристал-да-пристал один дед глуховатый. Был такой

в Бондарях, безродный дед Пимен, почему-то в списках он не обозначен. Списки делали в шестидесятых годах полулегально, по памяти, потому и выпал дед.

Так вот, новая власть могла и благодушно пошутить. Дед всё спрашивал: «Куда-то, сынки, людей ведёте?» – «В баню, дед, в баню!» – «Ой, хорошо-то как! И я попарюсь, небось, слава Богу! Вшей пощёлкаю!» – «Пошли, дед, за компанию! Намучился, поди, по свету шастать?» Воткнули пулю и ему. Дед стоял, понимающе улыбался: – «Во, шутники, прости Господи!..»

Расстреливали у северной стены храма, чуть левее колоннады. Дело привычное. Уронили всех сразу. Только иерей Колычев Александр, крутясь на одном боку, всё норовил вытащить из груди раскалённую занозу. Один из стрелявших по доброте своей сжалился над ним. Подойдя поближе, он резким движением с отяжкой опустил кованный железом приклад винтовки ему на голову. «Хрустнула, как черепушка!» – вспоминая, говорил дядя Серёжа.

Убитые долго ещё остывали на свежем, только что выпавшем снежке. Оставили так, для остротки – попужать. Потом, сняв с них кое-какую одежонку, – небось, пригодиться, – сволокли в дощатый сарай пожарной команды, и они лежали там ещё долго за ненадобностью. А куда спешить? Дело сделано. Морозец на дворе – не протухнут. Да и застращать надо...

Хоронить на кладбище по христианскому обычаю род-

ственникам не разрешили. Свезли их на подводе за кладбище, как навоз, какой! Вырыли одну общую яму (большевики всегда имели слабость к общаку), покидали их окоченевших, полунагих, как, попадая, засыпали стылой землицей, докурили самокрутки, поплевали под ноги и пошли думать свои государственные думы.

Вот тогда-то и поверили бондарцы, что новая власть пришла всерьёз и надолго. И затужили. Куда подевались смешки и подначки? Враз скушными стали. По всему было видно, что власть пришлась не ко двору. Отношение бондарских мужиков к ней, этой власти, было глумливо-ироническое. Уже в моё время, я помню, как отец в трудные минуты, вздыхая, приговаривал: «Эх, хороша советская власть, да уж больно долго она тянется». Или взять слово «колхоз», давно уже ставшее синонимом бесхозности и разгильдяйства. А чего стоят одни анекдоты! Ну, никакого почтения к Великой Революции и вождям пролетариата!

...А Петька Махан всё-таки не натрепался – и фабрику взорвали, и пол-Бондарей извели.

3

Резко вскрикнув, как от боли, какая-то птица вернула меня к действительности. Над густыми тополями собирались тучи. Надо было идти в село. У меня там остались в живых двое дядьёв по материнской линии – дядя Серёжа и дядя Коля. Два ствола одного дерева, от корней которых пошёл

и мой стебель.

Обычного застолья не получилось. Дядя Серёжа недомогал, как-никак – возраст к девяносто приближается, а дяди Коли дома не оказалось. Надо было бы посидеть, выпить, погоревать, поохать – вспомнить некогда многочисленную родню, плясунов и певунов. Хорошие певуны были! Но что поделать? На этот раз песни не получилось. Не получилось песни...

ПО ДЕРЕВНЕ ХОДИТ ТЕГА...

Ветер сухой и жесткий, как жухлая картофельная ботва, хлестанул меня по лицу так, что пришлось нырять в воротник широкой и просторной куртки спортивного покрова из расхожего плащевого материала с оторочкой искусственным мехом по воротнику.

Погода – хуже некуда! Мне на минуту показалось, что я иду по облачной серой мгле осеннего, простуженного неба, а опрокинутое над головой начерно распаханное поле хлещет размокшими стеблями, и я, путаясь в них, пробираюсь ощупью на дорогу.

Первоснежье.

По белесому пространству, сбоку от меня чернела, извинаясь, проталина реки захиревшей от недавней распашки пойменных зон, отчего берега заилились, позаросли черт те знает чем, даже не ивняком, а сорными кленовыми уродцами, которых и деревьями-то назвать нельзя.

Но об этом у автора будет время для размышлений назавтра, а сегодня, он целеустремленно, отмахиваясь от льдистого назойливого, всепроникающего ветра, ускорял и, ускоряя шаги, догоняя впереди идущего человека.

Вообще-то, я спешил навстречу лукаво подмигивающим огням, рассыпанным в беспорядке по черному пространству горизонта, в надежде найти кого-нибудь из механизаторов,

случайно сохранившихся в разоренной деревне: кто поумнее – подались на заработки в столичный град Москву, а кто попроще да подурнее, в такую темень и непогодь, наверное, уже и лыка не вяжут. А, что делать, когда делать нечего?

Что меня ждет там, за огнями, я, на самом деле, еще не знал. Я просто видел впереди себя рой огненных жужжалец да движущуюся согнутую фигуру. Фигура тоже боролась с ветром, а со стороны можно было подумать, что человек волочит за собой на лямке, по кочковатой грунтовке, груженные санки.

А человека того звали Семеном, и был он рыбозаводчик арендующий несколько прудов у дистрофированного колхоза в лице достаточно уверенного в себе председателя, по виду которого не сразу скажешь, что его хозяйство разорено и обветшало.

Дом колхозника, ввиду отсутствия топлива, был необитаем, поэтому, рыбозаводчик Семен, когда наезжал сюда по делам, жил на хозяйской квартире у одинокой женщины, не так, чтобы молодой, но вовсе и не старой, еще не успевшей устать от жизненных удовольствий.

Хозяйке квартиры было поболее тридцати пяти лет, но поменьше сорока, хотя на вид она была – еще ничего себе деваха: нерожалая, да, по всему видать, в уходе и справности себя всегда содержала. Из всей косметики она только и знала протертую клубнику в сметане.

Недолгий срок сезона свежей клубники, Катерине, хозяй-

ке этой, вполне хватало до следующего лета. Ночные умащения питали и очищали кожу так, что Катерина превращалась в Катеньку – груди и тело белого налива, а на щеках свежесть зорек, утренней и вечерней, и обе – к хорошей погоде. Зубки – рафинад рафинадом, где она их только такие выращивала? Наверное, сладким не баловалась.

Впервые, увидев Катерину, автор сам чуть не поплатился принципами, воспитанными правильной женой. Но, это было потом, когда я близко познакомился с рыбозаводчиком, и тоже стал вхож в дом Катерины...

Хорошо иметь богатого друга, когда эта дружба не обременительная. Но такое в жизни встречается редко, особенно в наше время первобытного накопительства. Но случается!

Ведь сидел же я, полчаса назад, в ласково урчащем автомобиле, и волны теплого воздуха оведали моё благодущное, после хорошего ужина, не без выпивки, конечно, лицо. А там, за ветровым стеклом, предвизня непогодь и вечная борьба природных сил. Одним словом – диалектический материализм!

Автор, вроде, тоже не лыком шит, изучал когда-то марксистскую философию. Ему хорошо было сидеть, поглядывая в окно на косые плети снежного ливня в черном пространстве ночи.

Его друг, обыкновенный банковский меняла, человек хотя и осторожный, но тоже принявшей за воротник, потому и сидел за рулем, как матрос-балтиец на царском троне: од-

ной рукой увлеченно шарит во рту зубочисткой, а другая рука вальяжно придерживает баранку, как даму в ленивом танце – ничего, едем как-нибудь!

Но в России, как известно, правительство и дороги одинаково убоги. Встречный грузовик полоснул белым полотнищем света по глазам – и вот уже иномарка в кювете.

Холеный «БМВ» только завизжал по-бабьи, наматывая на имперские колеса нашу русскую грязь. И – ни с места! Звук с визга стал переходить на безнадежное рыдание.

Иномарка все больше и больше оседала на грунт в запоздалой истерике.

– Иди, посмотри, что там? – выключив разогретый двигатель, с детской непосредственностью сказал мой друг.

Автор понимал, конечно, – не царское это дело в трясине ковыряться, и безропотно оттолкнул дверцей прильнувшую к окну любопытную ночь.

Ночь была действительно мерзопакостной, но у меня другого выхода не было, как с ночью этой поладить.

Обойдя слоновий зад заграничной штучки со всех сторон, я еще раз убедился, что наши дороги и коня на скаку остановят, а не только железного иноходца и двух дураков на четырех колесах.

Вернувшись на угретое сидение, автор бросил короткое нецензурное слово, и его друг, банковский меняла, маклер, сразу затужил и обречённо лег грудью на обшитую скрипучей кожей баранку.

Но, что-то надо было делать.

– Пойду до поселка! – обрушил я гнетущую тишину, – может, какой трактор подгоню...

Вдалеке светились редкие огоньки.

Надеяться на то, что в такое время кто-нибудь подберет их на дороге, по меньшей мере, наивно. Ночью на дорогах, при нашей правоохранительной системе, разбой – не новость. Какой водитель станет рисковать своей головой? И мой товарищ не стал бы.

И, даже, я сам не стал бы, если бы у меня был автомобиль, пусть похуже иномарки, но машина. Поэтому я, поголосовав минут десять на сквозном ветру, не обиделся на мчащихся мимо ночных перевозчиков, хотя и делал отчаянно знаки понятные каждому водителю. Руку помощи никто не протянул. Что поделаешь? Бытие определяет сознание. Сами выбирали для себя «Пепси» вместо порядка и безопасности.

Не приведи, Господь, в зимнюю пору, в морозную и глухую ночь случиться аварии на дороге. Заколенеешь. Жги сначала запаску, а потом и колеса разбортировывай для костра. Жизнь, все-таки, дороже стоит, если она твоя.

Вдалеке светились редкие огоньки. И – ветер навстречу. И чертова сечка костяными иглами в лицо бросается. А идти надо.

Я прозяб уже основательно, а огоньки, все так же далеко, как надежда разбогатеть. Мигают – заманчивые, зовущие...

Я, не старый еще мужик, бегу трусцой, греюсь, а огоньки

тоже убегают.

Там, за этими огоньками, за той деревней, километров в пятнадцать всего, малая родина банковского менялы, ну, и моя, конечно.

...Утром встретились, похлопали друг друга по плечам. Поплевали в сторону:

– Хорошо выглядишь!

– Да и ты неплохо!

Собрались.

Банковский меняла при деньгах. Погода плохая. Долго на ветру не простоишь, а рядом кабак. Провинциальный, правда, но с претензией на западный образ жизни. По ценам в меню, конечно. Но мой друг, вечный двоечник Алеха Батон, по гроб жизни был мне обязан. Я бескорыстно вытягивал его все десять школьных зубрёжных лет на аттестат зрелости. Но не это главное.

Одноклассница с первоягодками под кофточкой, по слезной просьбе Алёхи, была уступлена этому двоечнику и шалопаю Батону, с высокими надбровными дугами, говорящими о сильных инстинктах в натуралистических наклонностях.

Времена тогда были построжее теперешних, и Алёхе, в конце концов, пришлось жениться на первоцвете сразу же после школы.

С этим цветущим букетом он и живет до сих пор в попеременном согласии. Даже надбровные дуги теперь, выпря-

мились да налились жирком, и в глазах мысль появилась.

Хорошая жена и деньги – из козла сделают человека, а не наоборот.

Хотя встречается разное...

Всё было хорошо. Посидели. Выпили по маленькой. Закусили, ничего себе, балычком. Икорку лизнули. Вроде, надо и расходиться. Но, мне вдруг, так захотелось на историческую родину, в деревню свою, что слеза в глазах появилась.

– Алёха, Батон, махнём?!

– Махнем! – согласился Алёха.

– Туда и езды-то час! – обрадовался я. – Алеха, друг, стоим на площади, где топтались, у памятника Ильичу. Покурим по сигарете. Покрутимся... Алеха, там ведь детство наше осталось! Алёха... Батон... Друг... И-эх!

Автор тогда оказался многословнее своего товарища, может интеллектом повыше, а, может, выпил поболее, когда Алеха ладонью свою рюмку прикрывал. Второе – вероятнее.

Хорошо вначале было! Теплый воздух в машине волной накатывает, а за стеклом – «Шу-шу-шу!» Там ветер. Щуга небесная. Бр-р! Зябко!

Холодрыгу на улице я по-настоящему почувствовал только сейчас, когда под моей курточкой на рыбьем меху, непогодь эта, как у себя расположилась. Шарит везде. Буравчики ввинчивать под ребра стала. Тепло изживает.

А огоньки все так же далеко.

Теперь вместо картофельной сухой ботвы, манка сверху

посыпалась,

Сквозь льдистость ночи, месяц просвечиваться стал. Полный такой месяц, словно только из гостей вышел. Набок заваливается, не держится на ногах. От стола отвалился, а куда идти дальше – не знает. Раньше старики говорили: «К вёдру!». Ну, раз старики говорили, значит, завтра быть ясной погоде.

«И какого дьявола потянуло ехать по этой дороге? Вот русский характер! Все напрямик, все напрямик норовят!» – словно о ком-то постороннем размышлял и возмущался я.

Но в своем возмущении я был, конечно, прав. По окружной, ровной как стол, бетонке, от областного центра до нашей «исторической родины» – целая сотня километров, а спрямленный путь покороче будет. Какой же русский выберет окружной путь?! Ветер в паруса – и погнали!

Конечно напрямиком! Вот и сидит забугорная шаланда на колесах по самую ватерлинию в расквашенном черноземе, как в киселе каком.

Взаправду говорят – что русскому хорошо, то немцу – швах! Лучше не скажешь. На машине-то тавро германское...

Ропщу я на свой характер национальный. А куда денешься? Характер – не талант, в землю не зароешь.

От намека на зарытый в землю талант, мне стало плохо. Я даже и не заметил, как поравнялся с тем самым Семеном, предпринимателем рыбным, хотя тому больше подходило бы стать гидрологом-мелиоратором, о чем не раз говорил я ему,

когда потом мы ближе сошлись на почве рыбалки и Катерины. Ведь сейчас как? Все разрешено, что не запрещено.

А кто запретит ловить рыбу в арендованном Семеном пруду и тайно любить Катерину?

Захламлённые глинистые оврага и лощины Семен превратил в нагульное рыбное царство. И в Катерину Семен самолично втирал клубничку, свежую, только сорванную с грядки на июньской зорьке. У меня ноги подкосились, когда я нечаянно увидел обнажённую Катюку в руках у этого гидролога. Умопомрачительное зрелище! Почти все эротических шоу, которыми потчуют наших детей телевизионные каналы, подделываясь под западную мораль. Смотри! Пользуйся! Частная инициатива не наказуема!

Вот и автор смотрел, вытирая пот с лица, усмиряя дрожь в коленках...

Но это тоже было потом, когда мы братались с Семеном, когда я был своим человеком в доме Катерины...

Осенью дел по обустройству прудов – по самое некуда, вот и наезжает Семен, квартируя у Катерины половину спального места на просторной кровати. Кровать крепкая. Деревянная. Ночевать где-то надо! Спешит Семен к Катерине. Сошел с междугороднего автобуса и топает пешкодралом до заветного места, где тепло, сухо и под рукой женская податливость.

Пешком Семен шел не потому, что у него не было машины. Автомобиль у него, конечно, был. Невесть, какой,

но свой, отечественный внедорожник с колхозным именем «Нива».

Этой самой «Ниве» сегодняшняя погода под колесами, как детский насморк. Ходила и не по таким дорогам.

Но Семен сегодня автомобилем не воспользовался. Сказал жене: «Крестовина полетела!» А то, как бы оправдал свой вынужденный ночлег у Катерины. Век бы не оправдался!

Жена знает – пруды к весеннему паводку теперь готовить надо: водоспуски делать, ловчие ямы, плотину трамбовать с Петькой Плужком, местным владельцем универсального трактора «Беларусь» – спереди лопата бульдозера, а сзади – ковш экскаваторный. Только поворачивайся. Техника – что надо! Зверь. Поелозит день-другой Плужок на своем универсале по земляной насыпи: вот плотина и готова.

Водостоки к овражкам подвести для слива воды, тоже пара пустяков.

Овражки как раз к реке тянутся.

И – все! Пруд к полой воде готов будет. Зарыбливай и гребь по осени деньги лопатой. И с Петей-Плужком рассчитаешься, и Катьке на обновы дашь, и жене останется.

Без «Нивы» Семену одно облегчение: то каждую ночь к жене возвращайся, а теперь, вот, он на всю неделю от семейной опеки свободен на полном основании. Крестовина полетела! Бабы, что понимают в технике? Скажи: – «Поршня из дуба, вот и рассохлись» – тоже поверят. Одним словом,

расхомутился!

Мне по колдобинам трусить надоело, и я притомил шаг, поравнявшись с ночным путником Семеном.

Поле. Никого рядом нет. Поговорить охота.

– Во, погодка, блин! – выругался я в просторечии, чтобы быть понятливее

– Ничего, к утру подкует! – обрадовал Семен, гидролог-землеустроитель.

Плотины у него все на месте, утрамбованы, глина – цемент. Голова не болит. Какие теперь работы земляные в мороз. Это он сегодня жене лапшу на уши вешал. Семену морозец в самый раз. С утра выпил – и весь день свободен! Катька под боком кошкой ластится. Тоже довольна. Постоялец. Хоть так себе мужик, а предпринимателем называется. Соседям на зависть.

Вот и радуется Семён предстоящим заботам,

– Слушай, друг, – набиваюсь я к Семену в приятели, – тракторок бы мне? Засели на повороте капитально. Шаланда по бортам в кювете сидит. Сдернуть надо!

– Это мы в два счета устроим! – учтиво протянул руку землеустроитель-рыбозаводчик. – Семен я!

Я, поймав сухую, как лещ, холодную ладонь нового знакомого, назвалса своим настоящим именем, которым я, просто так, с первым встречным обычно не швырялся.

– У тебя водяра с собой? – простодушно поинтересовался Семен.

– Там, у друга, может и есть в бардачке... – растерялся я крутым оборотом, уязвленный больше не тем, что в подходящем месте и в подходящее время спросили о выпивке, а тем, что у него на самом деле ничего такого с собой нет. Я и сам был не прочь накинуть в такую погоду, остограммиться. Да – где возьмешь?

– Тогда с Плужком проблема будет – отвернув лицо по ветру, сплюнул попутчик, – не подмажешь – не поедешь!

– Какой плужок? Мне трактор нужен! Плуг-то зачем? – не понял я.?

– А, давай закурим! – остановился Семён, протягивая мне сигарету. – Плужок, – хохотнул разговорчивый попутчик, – это Петька, один тракторист на весь район. Заводной, – правда, как пускач на дизеле. Ему горючее всегда надо.

– Может, деньгами?

– Не! Деньги он принципиально не берет. Говорит: «Зло от них!» Водки нет – лучше к нему не ходи. Не поднимется.

– Что ж, и другого тракториста нет?

– Я же тебе сказал. Плужок один. Второго нет.

На ветру сигарету не запалишь. Отвернулись. Постояли. Покурили.

– Что ж теперь делать? Машину вытаскивать надо. До утра в землю вмёрзнет. Видишь, как прижимает? А там – иномарка всё-таки. Её по болтам не разберёшь и не перетащишь.

– Ну, по болтам-то ее да по частям, как раз, к утру и разберут, коль на глаза кому попадет. Это здесь могут. Народ

не прикормленный, вольный. Ладно. Пойдем к моей Катке. У нее всегда запасец есть – успокоил меня попутчик. – Пойдем! Вон и ее дом в четыре окна, видишь там, за стогом, светится?

Действительно, в глубине этих немигающих окон, мне пришло в голову что-то такое, отчего мягко торкнулось сердце, как котенок теплый за пазухой. Может там, в залитом светом доме, стоит жарко натопленная печь с красными петухами по челу, у стенки кровать с крутыми подушками под лебединым озером, разлитым на простеньком гобелене. Уголок лоскутного одеяла откинут, обнажая потаенное, мягкое, желанное...

– Слава Богу! – непроизвольно вырвалось у меня из груди. – Добрались почти – хотя выдох этот относился больше всего к Семену-землеустроителю, а не ко мне самому.

Рыбозаводчик сразу как-то подобрался, распрямил плечи и довольный посмотрел на меня, мол, ничего, мужик, перезимует!

А радость, как гонконгский грипп, заразительна. Вот и я уже завертел головой, поправляя на шее галстук. Неприлично заходить в гости неприбранным. К этому с детства приучен.

На короткий стук Семена, по занавеске запорхала большая черная птица. И вот уже в дверном проеме мягкое, женское и томительное – «При-ше-ёл!»

То ли глаза у хозяйки со свету тьмой застало, то ли она,

просто, не хотела замечать никого, кроме своего желанного, она повисла на шее у Семена, покрывая его смачными поцелуями, сквозь которые слышались только мужское мычание.

– Катька, подожди! Друг со мной здесь... – и, чтобы убедить подругу от нежелательного оборота, успокоил. – Он ненадолго. Машина застряла. Ему трактор нужен, а не ты.

Женщина, оторвавшись от своего «залётки», внимательно посмотрела на топчущегося вокруг крыльца неожиданного гостя:

– Ну, пусть заходит, коль ненадолго. От меня не убудет! – и тихонько хихикнула.

В комнате, куда вошел автор, конечно, никакой печи с красными петухами, и кровати с кружевными подзорами не было. Вместо печи стояла газовая колонка автоматического отопления, а дверь в спальню была закрыта. Что за кровать там стояла, и какой ширины – не ведомо. Но в домыслах автора кровать была не уже хлебного поля. В телевизоре из переднего угла скалилась зубастая морда известного шута горохового из надоевшей передачи «Аншлаг». Но более всего привлекло автора матовое свечение графина на столе и – закуски, закуски, закуски»

Семен был прав, Семёна здесь ждали. Я от зависти слова вразумительного сказать не мог. Все оправдывался – «Я на минутку! Я враз уйду!»

А куда уйдёшь, когда всё на месте, и никакого Плужка, Петьки – тракториста, не знаешь. Хотя я понимал, что я

здесь, как к подолу гульфик.

Но за окном ночь, неуютность...

Семен уже выпростался из одежды, водрузился за столом, прицеливаясь, с чего бы начать?

– А ты зачем стоишь? Садись. Интеллигент что ль?

Катька, на миг, задержав взгляд на авторе, уселась рядом со своим дружком и стала разделявать полными умелыми руками хрусткого, запеченного, вероятно только что, в духовке гуся.

Семён примеривался к посуде, размышляя, – наливать сразу по полной, или потом повторить?

Автор, по простоте душевной, не давая себя уговаривать, тоже нашел за столом место.

«Хорошо, так вот, иметь в деревне домик...» – подумалось мне без особой надежды. Продолжение сладкой мечты не последовало, а последовал громогласный, оттаявший голос Семена. Он встал и, ёрничая, в подражание известному герою Булгакова произнёс:

– Хочу, чтоб все! – и, не обращая ни на кого внимания, не чокаясь, опрокинул в себя налитый всклень. граненый русский стакан, и сел.

Что оставалось делать автору, скажите, пожалуйста? Он попридержал стекляшку, рюмочку, в руках, потом коротко приложил ее к пузатому графину, вроде чокнулся, и тоже выпил.

Катерина, не обращая на незнакомого гостя никакого вни-

мания, усадисто примостилась на коленях у своего друга и что-то безумолку лопотала, заглядывая ему в глаза.

А гусь, пропитанный сладко кислым соком печёной антоновки, был действительно хорош, да и самогон не отдавал характерным запахом перегона. «Через молоко выкуривали» – со знанием дела отметил про себя автор, смело хозяйничая на столе. Выпитое подбадривало.

Голубки, сидящие напротив, были заняты исключительно собой, и автор, глуша желчь одиночества, позволил себе еще – «Ничего, рюмка с ноготок. Выдержу!» И снова принимался за гуся. Гусь отвечивал золотой корочкой – не успел притомиться. С пылу да с жару на стол взлетел.

Хотя выпивка и закуска были дармовыми, но чувство товарищеского долга не давало автору сосредоточиться на пировании. Там, во мгле ночи, небось, заскучал Лёха Батон. Надо выручать Леху. Надо! И я, отмахнув от себя деликатность, полез разнимать сладкую парочку:

– Сёма, друг, извини за назойливость! Пойдем к Плужку! Лёха, дружок у меня по ушам в дерьме сидит. Вытаскивать пора!

– Какой Леха? – не сразу повернул раскрасневшееся лицо землеустроитель, еще не понимая, о чем речь. – Ты что, сдурил? Ночь на дворе. Пей! Закусывай! Сейчас спать будем.

Катерину с колен, как сдуло.

– Сёмочка, – заверещала она, – так нельзя! Товарищу помочь надо! Иди к Плужку! Иди! Договорись! – в ее голосе

чувствовалась кровная заинтересованность.

Катерину понять можно. Какая свобода действий, если в доме посторонний человек? Любовь на троих – штука возбуждающая, но не для сельской глубинки. Здесь, – все больше по старинке, при потушенном свете, под одеялом.

– Сёмочка, – чуть не плачет Катерина, – отведи товарища и не задерживайся. Я тебя умоляю! – сложила ладони у подбородка.

Семен с неохотой поднялся с усиженного места.

– Пошли! Только без горилки к Плужку лучше не подходить. Катерина с готовностью вступила в разговор:

– Найду, найду! Можно и в долг.

– Какой разговор? – я вспомнил, что у меня, от более удачливых времен в заглашнике черствела сотенная. – Держи столярник!

– Катька! – Семен шумно шлепнул сухой ладонью по мягкому женскому заду. – Тащи баллон!

Катерина с готовностью достала из чуланчика трехлитровую банку, запечатанную металлической крышкой

– Многовато... – посомневался я.

– А мы по бутылкам не разливаем. Чего губы мазать? – более чем логично отрезала Катерина. Мужики, если выпьют, то не остановятся. Всю ночь спать не дадут. Ходить будут – дай да дай!

– Семочка, пусть я гостя сама до Плужка доведу, а то ты опять перегрузишься. А, Семочка?

– Молчать, женщина! – картинно топнул ногой земле-устроитель. Долг вежливости обязывает! – и понес какую-то чепуху о восточном гостеприимстве.

– Пойдем, пойдем! – потянул я его за рукав, опасаясь, что тот передумает.

Катерина только резко громыхнула посудой, и осталась стоять у стола, завязав в узелок губы. Ее брачная ночь явно разваливалась.

На улице строил рожи уже совсем обнаглевший месяц. Черное небо было припорошено крупитчатой солью. Морозно и тихо, как всегда бывает в конце осени, перед самым декабрем.

Под ногами теперь кучковалось и хрустело. Пузатая трехлитровка так и норовила выскользнуть из рук. Пришлось покоить ее на груди, как спеленатого ребенка.

– Далеко еще? – спросил автор, когда они прошли уже порядочно по длинной, пустынной улице. А банка тяготила руки – нести неудобно, и бросить нельзя.

Ни огонька, ни собачьего брѐха.

– Как увидишь у дома трактор, так вот он, и – Плужок!

Но они шли и шли мимо молчаливых, отрешенных от всего суетного ночных изб, в которых, казалось, нет ни одной живой души, кроме призраков. Какой трактор в этом потустороннем мире?

– Во, ё-моё! Прошли, кажись! Он теперь свою технику во двор загнал, паразит. Значит, завтра работать не будет.

У него закон такой: если трактор стоит перед домом – Плужок работает. Приходи, не бойся, в любое время, хоть в ночь, хоть в полночь заказы принимает. Вкальвует по суткам. А, если трактор во дворе, – лучше не подходи, работать ни в какую не станет. «У меня – говорит – тоже праздник душе должен быть. Мне ее на волю выпустить надо!» А если на уговоры пойдешь, то и на кулак наскочить можно. Кулаки у Плужка тяжелые. А-а! Вот она, изба-то! А ты говоришь – «Не найдем!» – Трактор, действительно, стоял во дворе, мертво отсвечивая бельмами кабины. В доме света не было. Спит Плужок...

– Что делать будем? – опустил я на корточки, поставив между ног опостылевшую банку с самогоном.

– А ничего! На абордаж Плужка возьмем! Против двоих он не устоит. Тебя когда-нибудь били? Пойдем, если так! Вставай! Банку только попридерживай.

Такой оборот событий, никак не входил в планы отвыкшего от кулачных боев автора.

Дверь к Плужку оказалась не запертой, и, широко зевнув спросонку, нехотя впустила гостей в темные сени.

Потолкавшись из угла в угол, мы, как-то невзначай, попали в еще не остывшее, теплое, ватное пространство самой избы, дурно пахнувшей перегаром.

Где-то у потолка, в сторонке, раздавался невозмутимый храп хозяина.

Землеустроитель-рыбозаводчик, на правах старого знако-

мого, включил, пошарив по стене, свет. В избе – никого. Правда, храп тут же прекратился, перейдя на тихое, потаенное дыхание.

– Плужок, а, Плужок! – вкрадчиво позвал Семен хозяина. Никакого ответа. Но дыхание пресеклось.

– Постучи по банке! – подал мне Семен граненый стакан со стола.

Такой звук не с чем не спутаешь. И с печи, сохранившейся еще от царя-Гороха, сначала показались ноги в рваных носках, а потом съехала на пол и сама фигура зловещая в своем похмельном недомогании.

– Вы чего?

Я хотел, было, выскочить вперед со своей безотлагательной просьбой, но Семен ладонью загородил мне рот, поспешив сказать, что ничего, мол, вот шли по улице, и зашли на огонек.

– Чего ты брешешь? Какой огонек? Я свет еще с вечера вырубил! От него глаза болят.

– Так уж и сбрехать нельзя! – смеется находчивый рыбозаводчик. – Идём мимо, а поперёк дороги банка самогону прохода не даёт. Выпить бы надо, а посуды с собой нет. Подумали к тебе зайти. Стаканчиком разжиться. Ты сам-то выпьешь с нами?

– А-то нет! – оживился Плужок.

– Ну, вот. Доставай закусь!

– Пить да закусывать, то зачем тогда пить? – резонно вста-

вил свое слово автор. – Пьянеть не догонишь!

– Не, я так не могу! – передернул лицом Плужок, искомса поглядывая на хрустальную прозрачность трехлитрового баллона. – Я – щас!

Через минуту Петька Плужок принес из сеней огромную тыкву и, водрузив ее на стол, достал откуда-то из-под печки, то ли обломок косы, толи короткую саблю, и в несколько взмахов искрошил оранжевый шар вдоль и поперек:

– Закусывай, давай! Мой Борька и без вина эти гарбузы жрет, только похрюкает. Сало – Плужок страстно сглотнул слюну, – на ладонь, поди, будет. – Семен, ты же моего Бориса Хряковича знаешь. Сам видел. Он – человек, а не скотина, как мы все.

Кого имел в виду Петька – понятно.

Косырь, который он держал в руках, оружие серьезное, но им банку не вскроешь. А терпеть Плужку, по всему видно, было уже невмочь. Он подцепил пальцем ободок жестяной крышки, и, как Давид, разрывающий пасть льву, сорвал эту самую крышку с широкой стеклянной горловины.

– У-ф! – Плужок победно посмотрел на гостей, мол, вот я какой!

Ну, остальное – дело техники. Выпили по кругу. Похрустели сырой тыквой, выскребая мясистую основу с семенами, круглыми, как пластиковые пуговицы.

У меня возникло беспокойство: дружка-то своего я забыл! Ночь, мороз не шутит, дорога проселочная. Вокруг – ни ду-

ши. Край тамбовского волка, а Лёха Батон один на весь мир, друг его. Ждет, небось. А он, сволочь, здесь пирует...

– Петр, – говорю я нетвердо, – дергать надо! Один он у меня. Один...

– Зуб что ль болит? – обернулся ко мне начинающий разогреваться Плужок. – Эт-то, мы его щас пассатижами вырвем! – и стал шарить одной рукой на подоконнике, где у него, за тряпицей, закрывающей окно, лежали всякие железяки, запчасти, ветошь. Другая рука у него уже была снова занята стаканом.

– Лёха там! – показал я ладонью за окно. – По завязку сидит. Трактор нужен. Тачку из кювета вытащить. Петр, друг...

– Ну, если я тебе друг, – какой разговор?! Дернем и вытащим.

Дергаю! – Плужок самотеком влил в себя стакан, потом прихватил щепотью волокнистую, похожую на мясной фарш, мякоть тыквы вместе с семечками и стал задумчиво, по-волосьи, жевать. Но жвачка не пошла впрок, и Плужок с отвращением ее выплюнул. – Нет, – разочаровано сказал он, – желудок не обманешь. Это не мясо! Пойду Петьке Кочетову, моему тезке, башку снимать. Надоел он мне, подлец, спать не даёт! – Плужок рубанул с размаху воздух, чуть не задев меня косырем, и направился к двери.

Семен ухватил его за рукав:

– Не лей кровь! Пойдем к моей Катерине. У нее там гусыня, тега, в жиру купается. Пойдем!

Я стал что-то говорить о долге и чести, но кто меня будет слушать, когда дело такое...

Пошли к Катерине.

«По деревне ходит тега!»

Заорал во всю глотку Плужок

«А за тегой, хрен с телегой!» – подхватил за ним Семён-рыбозаводчик, отчего по селу рассыпался отрывистый кашель собачьего лая.

Автор молчал, хотя знал таких прибасок, дай Бог еще кому столько знать, да все с картинками.

Дорога хоть и не дальняя, но с ухабами. Шли – спотыкались. Петька Плужок, как обхватал банку эту родимую, так она у него врытой сидит. Нёс ее в пятерне – не шелохнется. Ничего донес, куда денется?!

Во всей деревне свет горит только у Катерины, как путеводный, маяк ночь сверлит. Может от бессонницы, может еще от чего-нибудь...

Остановились.

Сперва у калитки малую нужду справили, приглядываясь к окну, где Катерина, в короткой рубашонке, в столь поздний час, мыла ноги в большом пластиковом тазу. Шторы распахнуты на две стороны. Это чтобы ее Сёмочка дороги не потерял, дверью не ошибся. Мужиков-то в деревне – Плужок один да еще два-три калеки убогие.

Хорошие ноги. Крепкие. Ладные – отметил я про себя. – Разве заблудишься?..

Двери у Катерины для милого дружка не запираются. Нажал Семен на привычную щеколду – захода, пожалуйста!

Катерина и головы не повернула. Осерчала. Ждала этой ночки, вечерка этого. Дождалась вот теперь. Сам «в зюю» пришел да еще алкоголиков за собой притащил. Любовничек...

На столешнице, кроме солонки из ребристого стекла, ничего нет, если не считать цветочков голубеньких по скатерти.

– Ужинать давай! – тычется Семен-землеустроитель своей Катерине в покатую спину мокрым от холода носом.

По отстраненному изгибу плеча я уже догадался, что продолжение ужина не будет.

– А у меня здесь не столовая, Сёмочка! – обернулась к гостям раскрасневшим от справедливого гнева лицом, обманутая в надеждах, Катерина. – И не бомжатник какой! – Она подхватила обеими руками таз с мыльной водой и пошла по направлению к гостям с явным намерением, вылить помой на их проклятые головы.

Обезнадеженным гостям ничего не оставалось, как, пятясь к двери, вывалиться на улицу.

Я ничему не удивился, зная исключительную способность женщин из ничего делать винегрет. А вот Плужок пришёл в замешательство:

– И чего это Котька взбеленилась, как моя сука в помете? – Катерину он называл «Котькой», как ее звали в деревне все. – Мы, вроде у нее посуду не били?..

– Вот, когда женишься, тогда и узнаешь, отчего бабы бледнеют – на правах умудренного жизнью, глубокомысленно вставил я.

На крыльце с грохотом появился Семен с прижатой к груди, все той же банкой с недоиспользованным содержимым.

– Я тебе не Стенька Разин! Я друзей на бабу не меняю! Пусть тебя олень сохатый копытит! – крикнул обиженный землеустроитель в пустой провал двери, но уже потише.

– Ну, Сэмэн! Ну, друг! – чуть ли не на иврите заговорил Петька Плужок, обнимая расхраб्रившегося Семена, обрусевшего на русских просторах.

Мне, из чистой мужской солидарности, тоже пришлось приобнять приятелей.

Пили в палисаднике прямо из банки. Горло широкое у посуды, по бороде течет, но и в рот попадает. О закуси не могло быть и речи. Мне пришлось в творческом порыве, после нескольких вполне удачных глотков, слизывать со штакетника совсем свежую, но уже зачерствевшую, наледь.

Небо цедило жиденькое снятое молоко прямо на задубевшую под снежной корочкой землю.

– Плужок, – дергаю тракториста за рукав, – кончай пить! Заводи свой бульдозер!

У того угрожающе округлились глаза, вглядываясь, в уже забытое за пьянкой, чужое и незнакомое лицо. Вроде, не свой, местный, а горло дерет. Плужком называет...

Плужок уже заносил кулак, вопрошая:

– А ты кто?

– Член правительства в пальто! – после всего выпитого, потерял я осторожность

– Ах, ё-моё! Ну, раз член, то я тебя по голове бить не буду, а то не устоишь, упадешь на полшестого. Пошли! – рубанул сабельным взмахом Плужок. – Куда идти?

– Машину дергать!

– Пошли! – теперь к разговору присоединился и землеустроитель.

Повернулись. Идём.

Легкий морозец на длинной дороге хорош. Лицо студит, а за грудки не берет – руки короткие.

Вышли на большую дорогу. Звезды перемигиваться хитро стали, вроде, шутят. Заманкой манят. Высоко только. Шапкой не сшибить.

Идём. Еще не опорожненная банка закрытая пластиковой крышкой, у Семена. Дальновидный Сэмэн. В горячке крышку не забыл у Катерины прихватить. Вот она, еврейская предприимчивость!

– Не туда идем! – очнулся первым Плужок. – Трактор у меня во дворе стоит. А мы – в поле!

– За что я тебя люблю, – обнял Плужка землеустроитель, – ты всегда трезвый.

– Так наливай, давай!

– А чем закусывать будем?

– Яблоком мочёным, да хреном копчёным! – глубокомыс-

ленно втиснулся я в разговор.

Мне как раз пришёл в голову студенческий прикол: – когда один другого, после выпитого вермута спрашивает: «Яблочко мочёное будешь?», «Буду! А-то нет!», «Ну, так – на!» – и суёт тому, другому, не закусившему, заранее туго скатанный снежок.

Однажды за такую шутку я уже получал по физии, да вот забылся видать. Запамятовал.

Плужок поперхнулся уязвленный в самое нутро:

– Что же ты, гад, раньше не предложил?

– Так... Жалко было...

– Жадность фраера губит! – гроыхнул тракторист, забирая из рук Семена банку. Приложился надолго, вождедея за-грунтовать выпитое сладко-кислым обомлевшим от рассола антоновым кругляшом.

Я в это время поскреб руками у самых ног и скрутил не большой, но довольно плотный комок снежной крупки.

– Держи!

В потемках не понять, что в руке.

Плужок чмокнул губами, присасываясь к, уже подтаявшему, величиной с яблоко, снежку.

– Сэ-мэ-н! возьми банку! – зловеще процедил тракторист. – Я этого гвоздя щас кулаком по самую жопу в землю вобью!

Мы с землестроителем, присев на корточки, смеялись так, что Плужку ничего не оставалось делать, как гыкнуть

от удачной шутки.

Трактористы тоже хороший юмор понимают.

– Ну, ты и сволочь! – восхитился Петя. – Я тебя где-то недавно видел? В избе что ль? Ты чей?

Для автора, неожиданно впавшего в меланхолию, это был самый трудный вопрос за весь сегодняшний вечер. Чей он теперь? Мать с отцом в земле сырой. Дом безголосый, родительский, догнивает, небось. Давно не навещивался. Там – «иная жизнь, иной напев...»

Вот ехали с Лехой Батоном за воспоминаниями...

У меня от жалости к себе слезой глаза застелило, зазастелило. Носом шмыгнул. Сам потянулся к банке. Самогон холодный, безвкусный, как вода талая. А хмель тяжелит голову. Под ногами еще ничего – твердо, а сам, вроде, на волне качаешься. Уплываешь...

Я, расставив пошире ноги, оглядываться стал. А, чего оглядываться? Все равно в таком состоянии не поймешь – где, что?

А луна, между тем, куда-то совсем делась. Усыпанное звездами небо стало подергиваться белесой пеленой, предвестницей рассвета. На все стороны мерзлый простор. И – ни души единой!

Теперь вот ко мне сразу и одномоментно пришло понимание сути вещей.

Выскочив из состояния полного отключения активного сознания, как пробка выскакивает из погружения в воду, я

увидел себя одиноким на мертвом пустыре, и только в голове, как заведенные, кружились одни и те же слова, непонятные и бессвязные: моченые яблоки, яблоки, Петька, Плужок, Сэмэн, трактор и сплошная матерщина, от которой стало ломить виски.

Я, постанывая, опустился на колени, подгреб онемевшими руками запутавшуюся в обледенелой стерне снеговую натруску. Подгребал и совал в рот окатыши, которые родниковой свежестью наполняли пересохший и горячий рот.

Как раненый зверь, я слизывал и слизывал с пальцев налипшие снежинки, тяжело соображая, как он – житель шумного города, очутился в этом безмолвии, неудобном и настолько просторном, что глазу не во что упереться.

Правда, в той стороне, где белая плесень, накинутая на звезды, переходила в бледно-зеленоватую тонкую полоску, там, на фоне подступающего рассвета, четко выделялся излом крыш, судя по тишине, еще спящих, отрешенных домов.

Через поле, не видя дороги, спотыкаясь на каждом шагу, я брел и брел к спасительным жилищам, где есть люди.

И тут мне ясно и четко припомнилось вчерашнее. Как же? Как же? Батон рулил. Хорошо было. Музыка играла. Потом – стоп машина! И ветер в лицо. Семен-рыбозаводчик. Тракторист Плужок. Снова – Семен, его баба и – самогон, самогон, самогон!

«Как же это так, что я очутился сразу и нигде?» – ломило

голову от проклятой и глупой своей несдержанности. Ехали в родное, далекое детское. Приехали!..

Как-то незаметно, я вышел на дорогу, изрытую множеством колес, да так и застывшую в своей неприглядности, хотя и припудренную мелким снежком.

Посмотрел в одну сторону удрученно, посмотрел в другую – никакой машины в кювете нет. Только наподдальку, обочь дороги, костерок петушится, перышки чистит, топчется на месте, а кукарекать не кукаречет. Подошел. Посмотрел. Когда подходил, жжёной резиной потягивало. А подошел – точно, скат от легковушки дотлевают. Вроде бы они, вчера здесь засели в своей иномарке, а следов никаких нет. Изрыто все кругом. Канаву что ль копали? Костерок уже почти догорел. Мотки кордовой проволоки... Тронул носком ботинка бублик жженный, а он и рассыпался на искры да на черное крошево. Постоял. Подумал. Потёр пальцами виски, и повернул к деревне, где вчера пировали и веселились.

Теперь дорога туда оказалась вдвое длиннее. Деревня что ли отодвинулась на самый край поля, где голубая щелочка на небе, где утро уже приглядываться стало перед тем, как распахнуть двери, дорогу новому дню дать.

Но сколько не тянись, а дорога кончается. Вот и стожок вчерашний, за которым дом Катерины прячется. Точно! Катька здесь живет! Узнал. И все те же окна светятся. Подошел, попробовал дверь. Открыто. Зашел в сени, В сомнении потоптался у избяной, обшитой дерматином двери. Подер-

жал ручку. А! Рванул на себя. Дверь со всхлипом распахнулась. Господи! Тепло, уютно. Чисто. Так бы и остался жить на все время. Повалился бы у самого порога.

За столом Семен сидит, тот, вчерашний рыбоводчик-землеустроитель.

Яичница перед ним на сковороде с ветчиной зажарена, и графинчик, тоже вчерашний, на столе. Семен сидит, рубаха до самого пупа распахнута. И, вроде, как опять выпивши. Кинулся ко мне, опрокинув на пол табурет. Обнимает за плечи:

– Живой?

– Да лучше бы и не жить совсем!

– Как так, елки-палки? Мы же тебя искали. Я уже хотел сегодня сельчан на твои поиски поднимать. Куда же ты вчера нырнул? Сидели все трое в тракторе. Ты сам-то – ничего был. Стихи чудные декламировал. Век таких не слышал. Как артист, какой! Сам что ль сочинял? Ты их мне потом перепиши. А теперь садись, прими дозу. Ты бледный, как спирохет, какой! На человека не похож. Правильно говорят люди: «Похмелись, и слез не будет!»

Первая рюмка вошла, как штопор в бутылку. В пальцах сразу чувствительность появилась. Прихватил щепотью со сковороды остатки яичницы и кинул в озябший рот. Поводил челюстями – хорошо!

– Вытолкнули, вытолкнули твоего Батона! Чего спрашиваешь? Хотя я ни о чём таком еще не спрашивал, а только

приходил в себя.

– Замерзал твой Батон! – весь, подавшись в мою сторону, почему-то резко, с укором, как бы оправдываясь, говорил землеустроитель. – Если бы не мы, твой Леха в наши черноземы вмерз. У него шланг в системе отопления лопнул. Радиатор пустой, и печку разморозил. Запаска выручила. Резина долго горит, вот и грелся. Дернули раз-другой. Ты рядом тогда стоял. Чуть буксировочным тросом ухо тебе не отсекло. Веревка бельевая, а не трос. Оборвался. Колеса – ни в какую! Ну, ты чего не пьешь? – уставился на меня землеустроитель. – Пей! Катька на утреннюю дойку ушла. Теперь я хозяин. Спешить некуда. Если бы не Плужок, – до мартовской оттепели твоему другу сидеть. Его тачка по самое днище замоналитилась. Трос, я говорю, оборвался, когда ты еще рядом торчал, монтажник-такелажник! Закусывай! Чего ты? – и пододвинул ко мне уже порожнюю сковороду. – Ах, да! – спохватился Семен, и тяжело приподнявшись с места, дотянулся до холодильника, пошарил где-то там, внутри и вытащил, не глядя тарелку с остатками вчерашнего ужина. – Плужок – ухмыльнулся рыбозаводчик, – кружился, кружился возле вашей машины, да и подцепил ее ковшом под багажник. В тракторе сила дурачья. Отодрали тачку. Ничего, мотор в порядке, только багажник выше крыши взьерошился. Плужок на это дело спец, костоправ хороший. Выправит. Он виноват, что ли? – почесал затылок Семен. – Да, дела... – А где Леха с машиной? – после второй рюмки опять рас-

слабился я.

– А я тебе, не говорил что ли? Как где? Они теперь с Плужком, как братья кровные. Не скоро расстанутся. Машину на ход поставить – это не бабу раком. Тут торопиться некуда. Пей пока!..

Домой возвращались только на третьи сутки.

Я все ломал голову: – как бы нечаянной командировкой жену успокоить и отвести от себя скандал.

Что крутилось в голове у товарища, даже автор не знал. Ехали молча, но каждый думал о своем.

И только под конец пути Леха Батон вздохнул:

– Машину продавать придется... Может, ты купишь? Я уступлю только.

– Ага, куплю! – подхватил я. – Вот Нобелевскую премию получу и куплю!

Машина, раздрызганная и вихлястая, гремя всеми суставами, въезжала в заснеженный город. Стояла настоящая зима.

А на свою малую родину мы зря спешили; тропинки детства в бурьяне перепутались. От памятника Ленину одни пролетарские ботинки на постаменте остались. Какой-то местный недоумок ножовкой отпилел ноги вождю, думал, что Ленин бронзовый, из цветного металла, а это бетон, покрытый краской под бронзу, да и только! Зря пилил, старался.

Ильич бы и сам от недогляда упал...

ДОРОГОЙ ДЯДЯ РЕДАКТОР...

или с любовью из Украины

1

Живёт-обывает в сопредельной с нами незалежной стране, в сельце Воскресеновка, маленький наивный хлопец Николка – колядник, щедривник, посевальник, и вообще гарный человек. Живёт с мамкой в маленькой мазаной глиной хате, чистенькой, белёной голубоватым раствором гашёного карбида. Этого карбида у приезжего сварщика Михася целый жестяной барабан будет.

Михась тот, тоже гарный хлопец. Настоящий парубок: пшеничный оселедец на лобастой, бритой, круглой и крепкой, как перед Николкиной хаткой голыш-камень, голове, усы хоть ещё и жидковатые, но уже свисают двумя косицами с толстой губы, привыкшей держать изогнутую по куньи, трубку-смологонку – настоящую люльку, пропахшую ядовитым махорочным дымом.

Михась квартировал у них в хатке всё лето и Николка пробовал пососать этот деревянный гостинец. Никакой сладости, только голова закружилась.

Михась приехал из Галитчины к самому пану Леху, фермеру из братской Польши, помогать ему возводить хозяйственные и складские постройки на месте сгоревших в одно-

часье колхозных ферм.

Дом у пана огромный, на два этажа, четыре злющие собаки на четыре угла дома, видеокамеры зорко из-под козырьков смотрят на дорогу, не заехал бы кто невзначай в гости...

Пан Леха, местные называют его по москальски – Лёха, чтобы земля не зарастала дурнотравьем, прибыл помочь селянам в их нелёгкой крестьянской доле; взял в аренду чернозёмы и теперь выращивает для своих заводов в забугорном крае сахарный чудо-бурак, такой породистый, что и говорить нечего. Гнать из него горилку – милое дело!

За работу пан с бывшими колхозниками расплачивается тоже бураком. А, куда мужику этот чудо-бурак девать? Знамо дело, некуда! Вот и приходится перемалывать его на горилку. Горилка з перцем – хорошее дело! Дёшево и сердито!

Сам пан Лёха, когда ему поднесли на рушнике чарку вёрткие молодухи, пробовал той горилки, да не пошла она ему в горло, вышвырнулась. Прилюдно конфуз вышел, насилу отсморкался пан-хозяин и прогнал молодеек со двора. Сказал, чтобы приходили под хмару, но только без горилки, у него у самого наливков полный погребец, одному пить – мочи нет!

Рабочих у пана много, а сварщик один. Он специалист. Сваривает металл с металлом, как штаны штопает – строчка к строчке.

Попросился Михась к Николке в хату на постой, мамка его и пустила. Ничего – в тесноте да не в обиде! Михась де-

нежек за постой заплатил сразу на весь срок, поэтому учебники на этот год у Николки куплены свои.

Учится этот малой хлопец хорошо. Пусть Николка ещё пока не парубок, но он им будет – ей Богу! Усы станут полще, чем у Михася, а вот трубку он в рот брать не будет. Не дурак совсем, чтобы в грудях дым хоронить...

Михась ему друг. Помогал белить хатку со всех концов. Николку мочальная кисть плохо слушалась, поливала едучей карбидной гашёнкой, смывала глину со стены, а у Михася махровая кисть в руках была послушна, и сама металась по стене хатки, как озорная маленькая обезьянка, которую Николка видел однажды в киевском зоопарке, куда прошлое лето ездили на экскурсию всей школой.

Мамка могла бы тоже помогать Николке, да она слегла, – болеет, как только папка их покинул, смахнув с вешалки свой модный из померанцевой кожи жупан.

Ему бы, маленькому украинскому хлопцу, бежать за папкой, ухватиться за жупан и не пускать, а он возле мамки сидит, тихий и слёзы на глазах.

Мамка у Николки красивая, умная. Когда она не болеет, то всегда поёт одну и ту же песенку про кошку, грустную-прегрустную: «У окошка сидит кошка, к ней подходит бригадир: – Иди кошка на работу, а то хлеба не дадим!». Попоёт, а потом плакать станет. Руки у мамки мягкие, тёплые. Под ладонями мамки до того хорошо и сладко, что Николка, как маленький котёночек жмурится и трётся о них своим личи-

ком, тоже влажным от недавних слёз.

Мамка училась в большом русском городе на школьного учителя литературы и русского языка. Потом работала, выращивала из бестолковых, орущих в разной украинской пацанов, отцы которых делали ракеты и покоряли Енисей, настоящих парубков. Да не все дорожки ведут к Храму. Некоторые мальчиши-плахиши на распутье повернули не в ту степь – попали в услужение к буржуинам, в Раде сидят, пишут законы ломом по воде. И ничего, не подмокают, сухими выходят. И тогда дела сами собой поворачиваются к буржуинам лицом, а к народу задом. Вот как!

Теперь мамка не работает. Русский язык новые власти запретили, и пришлось мамке в своей школе уборщицей стать. А, как мамка захворала, так её новый директор, из жёвто-блакитных, сразу же и уволил.

Теперь в семье денег совсем не осталось. Электричество обрезали за неуплату. Сидят в потёмках. Мамкина пенсия по болезни маленькая, только и хватает на керосин в лампе, чтобы Николка мог по вечерам книжки читать. Охочий он до книг. Они с мамкой читают вместе. Потом долго разговаривают. Мамка тяжело при этом вздыхает. Она говорит Николке, что знала в большом русском городе местных писателей и дружила с ними. Ходила на их выступления. Сама пробовала писать стихи и носила в хороший чудо-журнал «Подолье», что значит равнина, степь... «Помнишь песню, – спрашивала мамка, – «Степь да степь кругом?..»

Как не помнить! Николка много песен знает, ему Михась тоже напевал какие-то странные песни, «железный рок» – говорил. Но слов тех Николка не запомнил, нехорошие какие-то слова! А вот – «Поле, русское поле, я твой тонкий колосок...» помнит наизусть. «Московские вечера» ещё...

Много знает украинских песен. А, может, они тоже русские, но с украинским напевом – «Маруся, раз, два, три калина! Чернявая дивчина в саду ягоду рвала!» Эту песню он слышал от солдат, которые однажды маршировали по Воскресеновке на учениях, как мамка говорила.

А ещё ему нравятся стихи Тараса Шевченко – «Реве та стогне Днипр широкий. Сердитый ветер завыва, до долу вирби гне високи, горами хвилью пийдима...»

Теперь зима. Брррр! Холодно в хате. Лозинки, которые Николка принёс целую охапку, давно сторели. Хлопец завернулся в мамкину шаль и сидит у окна. Вечер зимой длинный. Кажется, с утра только встал, а уже темнеть начинает. Скушно. Михась уехал на зиму в свою Галитчину. Пан Лёха отправился на северный берег Австралии. Там чудо-климат. Зимы никогда не бывает. Николке бы там тоже зимовать, а не зябнуть здесь у окна. Николка бы уехал, спрятавшись в багажных коробках пана, да мамку оставить не с кем, жалко мамку. Вон она лежит на постели и тихо вздыхает. Жалко мамку до того, что сердечко сжимается, вот как жалко. Всё бы для неё сделал, только бы она не плакала.

Ей бы что-нибудь почитать вслух, да нечего. Папка все

книги с собой забрал.

Сидит славный наивный украинский хлопец у окна и смотрит туда, в лесок за речкой, где белая метель из очёсов пряжу прядёт, да белое полотно ткёт и расстиляет. На полотне иногда вспыхивают голубоватые искорки – мамка говорит, что это заяц учиться спички зажигать. Охотники спички растеряли, а заяц их подобрал и вот чиркает по ночам. Балуется.

И-эх! «Чому я ни сокил, чому не летаю? Чому мне, Боже, ты крылья не дав? С земли б я поднялся, тай в небо взлетав...» – опять вот припомнились чудо-стихи!

Что бы такое сочинить, чтобы мамка плакать перестала? Может, колядки, или щедривки, Рождество завтра. Праздник Света Господа нашего Иисуса Христа.

Николка иногда стихи пробует сочинять. Мамка говорит, что это детская желание говорить в рифму, просто графомания, но он такого слова сроду не слышал, а мамка объяснять не стала.

Стихи Николка пишет по-русски, на мове у него плохо получается, не складно и ошибок много, а вот посевальники на святки, или колядки со щедривками хорошо получаются. Он даже завтра попробует по хаткам сходить со своими колядками. Пропеть их по-украински, по москальски нельзя, полицейский в участок посадит, тогда, кто будет за мамкой ухаживать, печь топить, бураки парить. Пан Леха целый воз бураков подарил им с богатого урожая. Богато – это хоро-

шо! Каждый день можно пряники есть, и даже булочки с молоком. Молочка хочется, да коровок всех на селе порезали. Пасти негде. Пан Леха не разрешает. Там его земля теперь. Поля бескрайние.

Вот сочинит Николка несколько щедривок, пропоёт их куме Марье, куму Ничихайло, крёстному своему дяде Петру. Дядя Петро мужик простой, когда выпьет. Крестник ему щедривку пропоёт, глядишь, и гривну в ладонь даст, сальце отрежет ломоть...

Хлопец своей мамки всё принесёт. А если пару гривен наберёт, то и пряников к чаю купит... Хорошо зимой чай пить, если сахар есть и пряники писанные. Да пускай и не пряники, а булка пшеничная с румяной корочкой. Ох, хороша!

Николка сглотнул слюну, прильнул к столу и стал что-то писать на тетрадном листе. Вывел аккуратно большими буквами «МИР ВСЕМ!». А что будет на том листе дальше, то об этом первым узнает большой редактор «Подолья», журнала того, о котором мамка всегда вспоминает...

2

Толстый литературный журнал «Подолье» помогал организовывать ещё сам комиссар Плешаков во времена Великого Перемола.

Старый журнал. Распашка его страниц была сродни раскинутым крыльям большой птицы, парящей высоко-высоко, так высоко, что можно было невзначай опалить крылья, при-

близившись к солнцу.

В журнале, хоть и с лёгкой опаской, но печатались свои нравные, удивительные творения Ивана Пришлого, самодостаточные стихи Павла Тулупова. Даже будущего любимца читательских масс Аверьяна Неустроева можно было увидеть на страницах «Подолья» и почувствовать полной грудью запах кизячного дымка стелющегося по донским станицам.

Сам Максим Акулов, и тот не обходил вниманием этот журнал. Такие времена были: суровые, но полные молодецкого размаха и того крутого воздуха, которым дышали подольяне на русском чернозёмном подоле.

Руководители Большого города подарили журналу прекрасный особняк на своей главной улице со светлыми комнатами, конференц-залом, паркетные полы которого так и сверкали отражением широких улыбок его сотрудников.

Хороший журнал. Хорошие писатели. Хороший творческий климат – пиши, работай, завидуй, пробуй!

Каждое время имеет своих героев...

Время «Купи-Продай» обрушило журнал в одночасье.

Проснулся по утру редактор, ещё не успел чайник на плиту поставить, а ему уже звонят сверху, и голос какой-то прокуренный или пропитый. Простой голос, уличный и всё тыкать норовит:

– Эй, ботаник очкастый, гребни со своими малявщиками из моего особняка! Я здесь буду бабки строгать! Чтобы к вечеру убрал всю макулатуру, не то рога посшибаю!

Редактор, хоть и родом не из тех, которые соплю из носа не вышибут, но человек интеллигентный: университетское образование, Литературный институт имени М. Горького, член Союза Писателей, от неожиданного хамства чуть зубную щётку не проглотил. Он такие слова даже в детстве не слышал.

– Да, как Вы смеете? Хулиган! Я милицию позову!

В трубке смачно матернулись, или просто высморкались в кулак:

– Ты, малявщик! Языком динамо не крути! Я с мусорами любой вопрос перетру. А твой бугор в яме сидит. Он у меня теперь с бабками, в трактире «Ямщицкие зори» удила закусывает. Шлея под хвостом. Ему до белой горячки там сидеть. Сам знаешь!

Конечно, знал Редактор в областной администрации куратора по культуре. Как не знать? Местная телепрограмма «Капитал-Шоу» многим ему обязана: играл-поигрывал, хотя не угадал ни одной буквы.

Сказано сделано. Как в сказке – чем дальше, тем страшнее.

И вот оказался редактор со своей командой и чудо-журналом на краю города, в бывшей прачечной купца Калашникова, знаменитого тем, что его праправнук изобрёл автоматический жарочный шкаф для пирожков с ливером соевым. Так и строчит, так и строчит! Каждую минуту – пирожок «Кус-кус» горячий. Вот какой внук у своего прадеда!

Но пирожки, пирожками, а журнал выпускать надо, всё-таки орган, и не какой-нибудь, а словесности. Только вот – как работать, когда в маленькой комнатушке его сотрудники друг у друга на плечах сидят – кто снизу, у того шея болит, а кто сверху, у того голова кружиться.

Прачечная кирпичная, стены в метр толщиной. Постройка старины глубокой, добротная, правда, подоконники ниже уровня земли, но зато – крыша выше человеческого роста. До ската рукой не дотянешься...

Раньше писатели в журнал шубой шли, у порога толпились, толкались локтями, а теперь, когда на гонорар за роман больше дырки от бублика не купишь, стали потихоньку исчезать. Да и писать стало незачем. Кто читать будет? Сверху разрядка такая негласная спущена, читателя считать за помешанного, за дебила русского, за ботаника.

В школах всех русских классиков, гордость своей нации, изучают скопом за одну неделю: нет занимательности сюжета, игры нет, секса. Разве это литература? Гоголи да Пушкины! Романы какие-то скушные, застенчивые, не раскрытые – от сохи что ли? Где герои публичного, постельного труда? Где любовные бои групповухой? Где конкурсные интриги эротоманок знаменитых количеством одноразовых мужчин? Крови нет. Нету крови! Тьфу – не утрись! Мораль одна! Зря эти классики только бумагу портили. Сколько бы можно было памперсов да прокладок с крылышками сделать! Летай – не хочю! Чего зря народ портить, отвлекать его

от священной молитвы золотому тельцу Ваал-Зебулу. Вот она, рука-то, к себе гнется! Одна курочка-дурочка от себя отгребает. Хватай, держи, а не удержишь руками, зубами вцепись. За горло? Да хоть и за горло! Поколение пепси берёт от жизни всё!

А Редактор был человек книжный, да к тому же поэт. У больших знаменитостей своего времени учился. С Колей Рубцовым одну рюмку на двоих делили, Юрия Кузнецова – вот так знал! К студенткам в общежитие мединститута вместе страдания носили. Друг другу ножку не подставляли. А Юрий Кузнецов – это вам не Губер-Бубер какой-нибудь! Поэт невозможного масштаба! На него поглядеть, так шапка свалится. Такой высоты достиг своим талантом, что с Богом мог разговаривать...

Ну, ладно! Это дело прошлых времён, тогда ещё коррупции не знали, жили, если не по совести, но и не по сундучным правилам. За деньги к Сатане в услужение не шли, не до того было! Работали, книжки-журналы читали. В школах тогда ещё правила безопасного секса не знали, а больше математику с физикой, да классиков мировой литературы изучали.

Вот и Редактор, нет, чтобы переводы Камасутры публиковать, а он всё о российских просторах, где нужда с бедой в обнимку живут! И писатели к нему ходят какие-то застенчивые, вроде и не писатели вовсе, а читатели начинающие.

Иногда смотришь на такого и думаешь – мать честная, до чего же их рынок довёл! Ну, совсем, как дети малые! Видите ли – крови на бумагу никак не хотят лить, извращений разных, экскрементов плавающих в потоке сознания, клюквы развесистой, чудовищ порождённых глубоким сном разума! Чистюли! Вот и живут, как-нибудь!

Правда, ходит тут один приبلудный. Калашников тоже... Но никакого родства с пирожковых дел мастером не имеет. Так, однофамилец! Правда, пули отливает достаточные, и строчит очередями по-матерному. Но ему простительно. Он всю жизнь болты крутил на нефтяных вышках, базу готовил для олигархов, а они его не узнали. Даже руки не пожали. Вот он теперь и пишет запоздалые повествования о том, как рабочему человеку повезло – свободен и без оков. Свободен от денег и обязательств всяких – социалистических и капиталистических, и работать никто не заставляет! Придёт он к Редактору, сядет и всё ждёт чего-то. Может денег за свои сочинения, а, может, выпивон дармовой.

Редактор – человек сам непьющий, никак не войдёт в положение писателя Калашникова. Ну, отдал бы причитающий ему гонорар – и дело с концом!

Отдал бы, да, где деньги взять? Бюджет журнала скудный, авторов на коротком поводке держит, не позволяет расслабляться. Пока придут деньги, Калашников этот до лета в кабинете сидеть будет. А сегодня зима. Правда, в этом году она какая-то насморочная. То дождит, то ветром лютует. Кре-

щенские морозы теперь только в бабкиных сказках остались, да в кабинетах бюрократических от чиновничьего погляда.

В тех кабинетах, наверное, кашеи живут, они бессмертные, им всё равно где кровь студить...

Сидит Главный Редактор и думу думает. Горькую думу. Подписчиков мало, а других – где взять? Люди от литературного нормального слова шаррахаться стали, как от заразы, какой! Теперь читают больше судебные сводки с крутым криминалом, а не художественную литературу. Гламурники с гламурзетками в моде, а не судьбы простых россиян, тружеников молчаливых на которых страна держится. И-эх! Доля наша, доля!..

Главный Редактор тоскливо посмотрел в окно, там кто-то с калиткой возится, никак не откроет. Почтальон что ли?.. Во, дела! Калитка от себя открывается, а человек её на себя рвёт, не к добру. Может...

Только поднялся Редактор помочь тому, кто с калиткой никак не совладевает, а человек уже в дверном проёме стоит, конверт протягивает, и расписаться в бланке просит.

Опять графоманы! От них никакой мочи нет! Снова стихи, кажется?

В отделе поэзии этими стихами все углы забиты, как прошлогодней соломой, хоть под ноги стели!

Расписался Редактор в бланке, взял конверт и отпустил пришлого человека интеллигентным словом – «Спасибо!». Сам снова сел на стул повертел конверт и положил его, не чи-

тая, на стол. Штемпель на нём, подозрительный был, страны сопредельной. Мало ли что там вложили! Может пластика-тор взрывчатый! Уж очень в этой стране россиян не любят! Жуть!

Так конверт и лежал бы не распечатанный до неизвестных времён, если бы не вездесущий писатель Калашников. Вломился, как всегда, в кабинет без разрешения и давай глазами по столу шарить, искать писательское удостоверение, которое вчера он в залог оставил, когда на маршрутный автобус денег просил. Он, как увидел на конверте красный штампель сопредельной страны, так и заорал, как оглашенный:

– А, шоб тебе повылазило! На украинской мове ни одного писменника не читав. Дай потренируюсь!

Редактор от такого панибратства так растерялся, что сам отдал конверт в руки нахалу:

– Читай, чего уж там!

Калашников отпил остаток кофе из редакторской чашки, выпотрошил конверт и, разгладив для порядка несколько выпавших листков, стал читать.

Пока Калашников, спотыкаясь в ударных гласных, читал письмо, лицо редактора стало изнутри светиться, вроде как электрическая лампочка там разгоралась. Ничего не скажешь – чудо-письмо!

«Мир вам!

С любовью из Украины!

Доброго Вам дня!

Доброго Вам такося и здоровьячка, глубокоуважаемый дядя редактор чуда журнала «Подолье»! поздравляю Вас и всю Вашу семью со щедрыми зимними Святками, Новым Годом, Рождеством Христовым и Крещением! От всей души желаю Вам всего самого —най-най-наилучшего, нового, светлого и доброго! Пусть же у Вас всё будет славно и хорошо! Пусть!

Зима – это не только колючие ветры со снегом и морозами... Зима – это ещё и целый парад щедрых Свят: колядки, щедривки, посевание. И мне очень хочется до Вас прийти и поздравить Вас с этим Чудесным Святым Днём Рождения Царя царей Иисуса Христа и пропеть для Вас мою славную Колялочку:

«Нова радість стала, – з неба зірка впала.

Цеже до Вас, дядя Редактор, вона мене прислала,

щоб Вы не журилися, щоб Богу молилися.

І щоб Вам добре всякий хліб родився!

Щоб на столе богато всякого стояло.

І щоб Вас, Господарю ніщо зле не брало!!!

А за Рождественскими колядками идут уже щедривки,

и посева на старый Новый Год. И мне снова здорово хочется до Вас прийти, чтобы посеять Вашу хату, Вашу семью и Вас нашими щедрыми украинскими пшеничными зёрнами. А пшеничные зёрнушки – это же хлеб. А хлебушко – это же сила, мощь и здоровье, а также сало и горілка. Пусть будет дорогой дядя Редактор всегда сильным, крепким, здоровым, чтобы чарку рука держать не уставала весь этот 2008 год, и ещё – всегда, всегда, всегда от нашего щедрого украинского хлеба-каравая.

Будьте всегда!

А хозяева дарят детям на эти святки гостинцы – это сладости и деньги. А я не хочу от Вас таких сладких гостинцев и денег. Я хочу, и очень, от Вас иного гостинца, особенного, духовного!

Вот, если бы вы да сделали для моей мамы Новогодний Рождественский гостинец-подарок-сюрприз и обрадовали маму, и выслали на 2008 год Ваш чудо-журнал – «Подолье».

Пожалуйста, будьте так добры, сделайте маме радость и счастье быть с Вами и читать Вас. При всей любви к Вам – мама не в силе Вас выписать, так, как мама хворает, не работает, и семью пленило тяжёлое безденежье. А папы у нас нет. Сбежал. Испугался трудностей и сбежал. Мама будет Вас читать и вспоминать Вас добрым словом, от радости мы Вас расцелуем. Пусть же Ваш журнал да будет Вашей духовной и манитарной помощью. А мы заранее сердечно Вам благода-

римо за Вашу доброту, чуткость и милосердное сердце доброго Вашего.

Если сможете, – то не откажите. Ладно? Ведь кто же поможет украинскому сельскому обездоленному читателю из глухой сельской глубинки, если не Ваш и мамин журнал, если не наши старинные русские друзья-братья-славяне из России. С большим нетерпением ждёмо Вашей доброй весточки-ласточки, квитанции на подписку любимого маминского издания – «Подолье». Всех Вам благополучий и радостей! С искренним уважением и любовью до Вас – маленький, наивный хлопец из Украины Николка-колядник-щедрівник-посевальник.

Наш адрес: Украина, 62113, Соседская область
Богодуховский район. Село Воскресеновка Заньков Николка.

Ой, чуть не забыл! А, может у Вас остались номера «Подола» за прошлые годы – то обрадуйте, поделитесь с нами. Мама вновь хочет их прочитывать. Так, как мамину подписку забрал, (или сказать прямо – украл, воровал) наш бывший папенька.

Извините.

Спасибо Вам!

Хочу Вам посівати моїми посівальниками, рядочками.

...Сію, сію, посіваю,

З Новім Рокім Вас вітаю!
Щоб родило із землі,
Щоби хліб був на столі
І в коморі, і в оподолі,
Щоб всього було доволі.
І не знали щоб разлуки
Ваші дітки і онуки.
Дай же, Боже, у добрый час
Щоб Добро гостило у Вас!!!

...Дай Вам, Боже, здоровья,
Дай Вам, Боже, Любові.
Хай усе обминов Вас
Що у світі негоже!!!

ДОРОГОЙ ДЯДЯ РЕДАКТОР!

Простите меня. Давно написал Вам письмо. А отправить боялся – так неудобно и стыдно: просить, унижаться...

А потом передумал – да ладно уж, отправлю письмо. Будь, что будет!

Извините за наши злыдни!»

Вот такое вот письмо. Прочитаешь – не скоро забудешь. А если забудешь, то ты, уже много поживший в жизни, так ничего и не понял.

Даже писатель Калашников, и тот рукавом утёрся. А редактор стал шарить в пиджаке. Стукнул по карману – не звенит. Стукнул по другому – не слышать! Тряхнул седой чубатой головой дядя Редактор и пошёл в бухгалтерию в счёт своей зарплаты выписывать гарному хлопцу квитанцию на годичную подписку чудо-журнала «Подолье».

Чудны дела твои, Господи...

УКРАЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ ПО-УКРАИНСКИ

Памяти Ивана Евсеенко

Для любого писателя, а провинциального тем более, работа сторожем где-нибудь в тихом месте, – самое то! Правда, смотря, что вкладывать в понятие «провинциальный»: вот Шолохов – писатель провинциальный, или как?

На охранной, сторожевой работе уединение идеальное, ночного времени столько, что иногда глаза слезятся от воспоминаний затраченной жизни на пустыки, на ловлю улетающей птицы удачи, которая потом оказывается, в лучшем случае сереньким воробышком, а иногда ухватишь хвост, а это ядовитый злой шершень. Правда, зарплата маленькая, но гораздо выше, чем месячные гонорары какого-нибудь классика из центра. Вот и живёшь как-нибудь, что Бог послал...

...Встречаю на шумной улице Ивана Евсеенко. После переезда в наш стольный град Воронеж из тихого Тамбова, для меня все улицы Воронежа кажутся шумными. А Плехановская тем более. Вечер. Озабоченный завтрашним днём народ наш по сторонам не смотрит. А, чего любопытничать? Пустое дело! Скорее втиснуться в маршрутку – и ты дома, у родного очага, отужинать бы скорее, и к телеку на зани-

мательные передачи «*про это*». А, может быть, и «*про то*». У каждого своя думка на вечер, каждый свою копну молотит. Жизнь, одним словом.

– Иван! – я чуть не врезался в него со всего маху: спешу на дежурство в дом под одиноким вязом на Никитинской 22. Там Дом воронежских писателей. Быть сторожем в нём не зазорно. Вот и спешу встретиться с творческим народом, которому этот дом роднее собственного. Писательские посиделки – не просто время провождение, а работа, своеобразный творческий процесс, где можно товарища выслушать и самому похвастаться написанным. Потому там по вечерам всегда можно отвести душу с хорошим собеседником.

Потому и спешу.

– Иван! Вот так встреча! Не видел тебя сто лет! Здорово! Я действительно как переехал из Тамбова, ещё с Евсеенко не встречался. У меня с ним были не такие уж приятельские отношения, чтобы хлопать по плечу, но довольно товарищеские, чтобы разговаривать на «ты».

Иван Иванович, работая главным редактором журнала «Подъём», меня охотно публиковал, хотя был по-редакторски: и требовательным, и внимательным читателем, творческие промахи замечал, как никто, но удачам радовался.

Конец рабочего дня, народ толпится, не поговоришь. У Ивана взгляд рассеянный, чем-то занят своим, глубоким, но улыбается с добринкой:

– Как выходит на новом месте?

– Выходит хорошо, – отвечаю известной мужской шуткой, – входит плохо!

– Что так? Вроде, не совсем старый ещё...

Я перевожу разговор на другое:

– Сторожу вот. Пойдём, посидим. У меня первая зарплата. Может, по сухарю вдарим!

– Спасибо, старик! Не пью. Я в партию к Жихареву Виталию Ивановичу записался. Как тот, так и я. Кроме водички – ничего!

– За чаем посидим, покалякаем... У меня печенюшки есть...

– Спасибо! Иди, давай, а то тебя Чекиров заждался. Ты его сменить должен.

Чекирова Виктора Мустафьевича я действительно должен менять на вахте. Он в писательском доме лит консультантом и дольше всех задерживается с начинающими пробовать перо. У него всегда толчея из непризнанных гениев.

– Ладно, бывай! – протягиваю ладонь.

– Буду! Зайду как-нибудь на огонёк.

х х х

Зимний вечер долог. Сижу за компьютером. Целых два абзаца своей нетленки натюкал пальцем. Устал. Дом Писателей хотя и обветшал до предела, но тепло держит хорошо. «Ой, мороз-мороз, не возьмёшь меня! Я сижу в тепле на исходе дня».

Вот ведь дело какое, когда всё сделано! На стихи потяну-

ло. Сплошной плагиат или – ремейк, как теперь выражаются умные люди. Но ведь, правда, хорошо! Тепло от батарей, как медвежья полость мехом наружу с ног до головы пеленает. Сладко под мехом. В сон, как в немыслимую ересь тянет. Я, вроде, сторожем здесь. Бдеть должен. Домовой, как-никак.

Стук в окно, как выстрел у виска. Чуть компьютер не свалил, выпрастываясь из меховой полости. Вскочил, как ванька-встанька. Раз! И я к стеклу!

Улица в рассыпчатом жёлтом свете фонарей. В окне улыбается в бороду Иван Евсеенко. Вот удача! Машу ему рукой, чтобы заходил. «Чайку попью. Покалякаем...» – так, кажется, я ему говорил тем летом при первой встрече.

– Заходи! – широко открываю дверь.

Евсеенко в морозной дымке, видно долго гулял на свежем воздухе, припылился снежком, пообветрился. От него потянуло чем-то домашним, родственным, как входят с дороги свои люди в давно обжитое, желанное тепло. Так и, кажется, что он вот сейчас размашисто перекрестится на передний угол, где место иконам. Я даже по своей православной привычке оглянулся туда, но в пустом углу ничего и никого, если не считать паука-крестовика, одомашненного временем и тесным пространством.

Бегу ставить чайник, – гость, как-никак. У меня в записке на всякий случай пылится четвертинка водки. Предложить, может?..

– Иван, – кричу из другой комнаты, где гремлю посудой, –

насчёт водочки с морозца, как?

– А, никак! В смысле никаких возражений.

Выставляю застоявшуюся без призора водку, крошу на газете нехитрую закуску, достал махонькие, на один глоток, стопарики. Разливаю.

– Ну, за встречу! – поднимаю склянку.

Иван отводит мою руку:

– Тебе нельзя! Ты на работе! – смеётся.

– Так и тебе нельзя! Ты в партии Виталия Жихарева.

– Вышел я из партии... Ну её! Я теперь антипартийный!

Врачи говорят, – можно!

– Ну, и мне можно! Я на этой работе, ну, как член... нашего правительства, что ли. Чем меньше вникаю, тем для дела лучше.

Смеёмся оба. Настроение хорошее. На шутки тянет.

Иван, как и любой пишущий человек, любитель поговорить. Потолковать о жизни. О нынешней подленькой и о прошлой, пусть не без промахов, но той настоящей, героической, где каждый чувствовал себя личностью, а не тем электоратом, от которого ничего не зависит.

– В армии, вот тоже, – начинаю я, – никогда не спешу выполнять приказ, ибо, будет команда, – «Отставить!»

– А ты в армии хоть служил? – спрашивает с подначкой.

– Три года и шесть месяцев, как с куста, впереди пограничных застав отбарабанил. В ГДР служил. Карибский кризис. Рядом американская империалистическая морда зло

ощеряется. Вот и задержали дембель.

– Ефрейтором, небось, на гражданку вышел.

– Откуда ты знаешь?

– По росту сужу. Выше ефрейтора не дадут.

– Не в чинах дело! Гитлер вон тоже, я слышал, ефрейтором был...

– Потому, и Гитлер, что самолюбие душило.

– А ты, видать, в генералах ходил!

– Можно сказать и так. Я при политотделе части комсоргом служил. Весь состав подо мной был. До сих пор у прибалтийцев моя служба костью в горле стоит. Не забывают братья сводные...

– Ты же ничего делать не умел, вот и поставили комсоргом, – тоже подначиваю по-приятельски.

Разговор постепенно стал переходить на житейские темы, благо, такими порциями даже четвертинку не сразу осилишь, а зимний вечер долог.

Евсеенко сел на своего любимого конька. Бесконечные рассказы, как попать, полудить, как косу отбить, как землю правильно пахать. Его назидательные монологи отличались хорошим знанием дела. В отличие от меня, Иван был большим охотником помастерить, поточить, построгать. Незаменимый человек по дачному хозяйству: где крышу подлатать, где рамы в окна вставить, где в огороде покопаться. В нём так и виделся простой русский крестьянин, огородник и добытчик. Было видно, что деревня в нём глубоко сидит, свою

метку оставила, зарубку на всю жизнь, несмотря на высокое образование и звание русского писателя. Именно русского, хотя он и был чистейший представитель украинского народа.

В то время, как и теперь, Украина вся на слуху, вся на страхе за свои нелогичные действия. Все эти померанцевые, оранжевые и прочие майданы, вся русофобия «западенцев», так захлестнула страну, так вдолбили народу про заклятых москалей, которые всё сало слопали, что даже в русском Харькове можно было услышать фашиствующий призыв – «москалей» на ножи! На ножи!

И потянуло страну в соблазн распутства. *Це – Европа. Це – незалежна. В Европе салом даже сапоги не мажуть... Сало будем сами есть. Лучшие гирише, но иньше!* То есть, пусть хуже, но будем жить по-другому. Чистейшая хохлацкая мольба, упование на перемены. Вот и дождались...

Теперь, когда Украина залила кровью и нелюдьё всё пространство от Днепра до Буга, я вспоминаю русского украинца писателя Ивана Евсеенко и тот ещё тихий зимний вечер, и его сказ, как на Украине ставят быков в упряжь.

– Ты вот в деревне не жил. Лошадь никогда не запрягал. Не знаешь, как из буйного быка покорного вола делают? Не знаешь, а ещё говоришь, что ты сельский человек. Город тебя обокрал вчистую. Помнишь, как писал твой земляк Вячеслав Богданов: – «Город, город, что же ты наделал? Ты украл деревню у меня...»

Иван расстегнул куртку, двумя руками огладил бороду,

отвалился на спинку кресла. Было видно, что хорошо ему в этом доме, при вечернем свете ламп, при внимательном слушателе.

А его сегодняшней внимательный слушатель жил в тамбовском большом районном центре, где не было колхоза, где село отличалось от города лишь тем, что дома были пониже, а лужи поуже.

– Вот у нас на Украине как? – продолжает Евсеенко, – растёт, растёт бычок на воле, травку пощипывает, а, как настанет срок, – его охолостить надо. Лишить яиц, чтобы мышцы круче были, сильнее. Придёт нужный в деревне человек, чиркнет пару раз по мешочкам и бычок уже в другом качестве. Теперь ему уже не до тёлочек, теперь у него одна дорога – в хомут. А в хомут идти ему не хочется: упирается, рогом землю чертит, из ноздрей пар идёт, пена дурная на губах. Тогда что? Запрягают такого бедолагу в сани. А на дворе лето в самом настоящем виде. Жара. Сани загрузят доверху бытовым камнем, плитами бетонными, железом всяким, чтобы сани тяжелее были, и давай этого бычару промеж ног багром ширять. От боли взревёт бывший коровий хахаль, пустит струю на землю и сани сорвутся с места. А в санях тонны полторы груза, а земелька с песочком, а багор у палача острый, а гужи из сыромятной кожи, не порвать. Вот и прёт бычара сани по три-четыре круга вокруг деревни, пока не рухнет на колени. А как упал на колени, так хватит. Так ты уже и не бык вовсе, а настоящий вол; молчаливый и послушный.

...И теперь, слушая про Украину чудовищные вещи, мне вспоминается тот сказ Ивана Евсеенко про горькую долю вола. Гениальная метафора украинского пространства власти
Царствие тебе Небесное, раб Божий Иван! Земля – пухом!
Как говорят у нас на Руси, да и на твоей Украине тоже.

УТРЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

Ранним осенним утром, когда, заблудившийся спросонок ветер, на ощупь зябко перебирает сухие, насквозь проржавевшие листья, и свет электрических фонарей, кажется нелепым и расточительным в наши времена перманентного кризиса, из старой пятиэтажки прошлого времени с облупленной местами штукатуркой вышел молодой человек, оглянувшись на еще темные окна, подхватил двухосную тачку и заспешил туда, где громыхая железом о железо, сталкивались, скользили и ворочались составы товарных поездов.

Пассажиры здесь не ходили.

Городок отличался небольшим размером своих узких улиц, каждая из которых оканчивалась или лесом, или станцией грузовых перевозок.

Таких городков по России множество. Вырубалась тайга, мощные землеройные машины срезали сопки, осушались болота, обводнялись пустыни и все для того, чтобы в одно время привезти сюда будущих насельников с домочадцами и заполнить пятиэтажки из силикатного кирпича молодыми голосами и детским плачем.

Городки такие имели приставку «моно», то есть один. Один – и все тут!

Большие люди за кремлевскими стенами знали, что делают. На один рубль затраченных средств приходилось девять

рублей комфортной жизни государства без военной бойни и катаклизмов. Заокеанские ястребы не осмеливались точить когти, свысока посматривая на тучную добычу. Как в русской пословице: хоть видит око, да зуб неймет.

Такие городки жили тихо, особо не высовывались, на карте обозначены не были, вроде их и вовсе нет. Тишина жизни еще не значила, что люди здесь ничего не делали и разговаривали только шепотом: кузнечным грохотом железом по железу в три смены гремели заводы, в тишине лабораторий сопрягая интегралы, дифференциалы, синусы и косинусы ломали голову люди в очках, в конструкторских бюро у кульманов выводили на ватманской бумаге углы, овалы, стрелки, пунктирные и жирные линии молодые, склонные к самоиронии люди. Шла обычная напряженная жизнь во имя Государства, во имя будущего своих детей свободных от власти денег, стяжательства, казнокрадства.

Один вид стяжательства признавался здесь – стяжательство духа.

Но, как известно, дьявол живет в мелочах. Комары задрали неуклюжего государственного медведя. Гнус с арбатских дворишков маленькими хоботками прокусывали шкуру великану и сосали, и сосали живую кровь, пока этот государственный медведь не рухнул. «Берите, сколько проглотите!» густо зудел над тушей самый старший гнус, пахан арбатской дворни. И хватали, и жрали, и не давились...

Вместе с Государством стали ветшать, осыпаться прахом

его мускулистые силы – моногородки.

Люди в очках, забыв о математических символах, подались в службу к своим младшим научным сотрудникам, комарикам, которые, не брезговали поступать принципами и от общего стола урывали столько, что сытный тук вылезал из ноздрей их и даже просачивался через ушные перепонки.

Предприятия банкротили, людей отпускали в бессрочный отпуск без сохранения содержания.

Все ценное было растащено на залоговых аукционах. Драгметалл и редкоземельные сплавы ушли за границу. Заводское оборудование на товарняках увозили, как металлолом в Прибалтику. Лаборатории за ненадобностью разрушили. Прах пустота разъедает все скрепы.

Городки стали опустошаться.

Вот в одном таком городке по стечению обстоятельств мне пришлось одно время перебиваться с киселя на воду.

В городке этом одним из детей Арбата был срочно образован приват-банк, ну, не банк в прямом смысле слова, а банчок, если так можно выразиться, с уставным капиталом в несколько тысяч, способным разве только оплатить стоимость судебных издержек.

Но, порядок, есть порядок.

Банку требовались охранники. Имея за спиной некоторые навыки охранной службы и газовый револьвер, переделанный под боевые патроны, я после непродолжительной беседы с учредителем банка Рафаилом Ефимичем Ивановым,

был принят на временную работу по охране нового капиталистического заведения.

Капитал живет, где хочет. А я вынужден жить там, где капитал.

Рафик, так все называли хозяина, был человек демократичный, с улицы, и вел себя с работниками банка тоже демократично, разрешал брать мелкие кредиты, но под большие проценты, в самый разгар рабочего дня мог рассказать забористый анекдотец, со всеми вместе попить чайку, побалагурить. У него была одна очень приметная привычка, всколупнуть у сотрудника, пока тот ищет сахар, хлебный мякиш и долго мять его между пальцами, пока свежий мякиш не превратится в настоящий пластилин.

Каждый раз из его горсти выпрыгивали на стол чертики. Всегда только чертики.

Эту привычку я, когда-то в далекой юности, работая в монтажной бригаде, не раз замечал у своего прораба.

Время давнее, послесталинская амнистия, прораб только вернулся с мест весьма отдаленных и тоже лепил в обеденный перерыв, отщипнув у какого-нибудь монтажника мякиш, тоже до бесконечности мял между пальцами, и выпускал чертиков, которые на вольном воздухе быстро каменели и украшали наш скудный стол, сваренный из тавровой балки и листового железа.

Теперь вот этот наш Рафик...

Рафик на работу своих сотрудников смотрел сквозь паль-

цы, охранная служба не имела четкой инструкции, каждый работал не за совесть, а в прямом смысле, за жизнь. Убийства из-за денег были обычным делом, и Рафик хорошо знал, что без инструкций и особого догляда охрана будет бдить лучше любого пса.

Работали – ничего себе. Рафик платил исправно до той поры, пока наш президент не дал указания службам «не кашмарить бизнес проверками».

Каким-то образом Рафик в Центральном банке получил кредит в несколько миллиардов на развитие «инноваций» и, не долго собирал вещи. Теперь он не на южном берегу Ледовитого океана, как того требует закон, а на северном пригороде Лондона. Теперь он там лепит своих чертиков и за ненадобностью бросает их в Темзу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.